ИОСИФ
УТКИН

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

ИОСИФ УТКИН

Советский
писатель

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ИОСИФ УТКИН

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
А. А. Саакянц

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД · 1966

Р 2
У 84

Иосиф Уткин (1903—1944) — один из видных советских поэтов, стихи которого пользуются заслуженной симпатией нашего читателя. Мужество революционера, сочетающееся с мягким гуманизмом, — внутренний «нерв» лучших произведений поэта; пленяющая напевность и одновременно зримая точность художественных деталей — их примечательная особенность. Настоящее издание по полноте своего объема превосходит все ранее вышедшие сборники стихов поэта. Наряду с известными и популярными произведениями Уткина в книгу включены неопубликованные стихотворения поэта, извлеченные из архива.

7-4-2
423-66



ИОСИФ УТКИН

1

Осенью 1924 года в Московском институте журналистики появился черноволосый юноша в синей косоворотке и сапогах. Звали юношу Иосиф Уткин. Лицо его привлекало внимание смешанным выражением робости — и заносчивости, неуверенности в себе — и одновременно чувства превосходства. И понятно: ведь этот новичок, впервые попавший в столицу из далекой Сибири, успел написать несколько стихотворений, достойных настоящего поэта, и уже имел за плечами суровую, не по возрасту, биографию.

Иосиф Павлович Уткин родился 14 мая 1903 года на станции Хинган в семье служащего Китайской восточной железной дороги. Очень скоро семья переехала в Иркутск, где и прошли ранние годы будущего поэта.

Жить было трудно: жалованье родителей — скудное, детей — семеро. Тем не менее Иосифу Уткину удалось окончить трехгодичную городскую школу и поступить в четырехклассное училище, откуда, однако, на четвертом году учебы он был исключен — «за плохое поведение и вольномыслие, по совместительству».[1] «Плохое поведение» состояло не только в мальчишеских шалостях. Мальчик пропускал занятия, ибо в это же время работал, — ему пришлось стать кормильцем семьи, брошенной отцом, и пойти «в люди». Впоследствии Уткин вспоминал:

---

[1] И. Уткин, Автобиография. — Центральный государственный архив литературы и искусства, фонд Уткина. В дальнейшем ссылка на архив Уткина дается сокращенно: ЦГАЛИ.

«Сибирь. Иркутск. 1916 год. Война. Старшего брата — главу семьи — берут в солдаты, угоняют на фронт.

Семья без хлеба. Мать мечется. Надо работать. Где работать? Кому работать? Мне, мальчишке. Где придется». [1]

И Иосиф устроился маркером в биллиардную сибирского «Гранд-Отеля», где приходилось скрываться от школьных учителей, забредавших в ресторан: потом продавал вечерние газеты, разносил телеграммы; служил на кожевенном заводе. В те годы он и не подозревал, конечно, что многое из увиденного и «подслушанного» им, тринадцатилетним подростком, оживет восемь лет спустя в «Повести о рыжем Мотэле», а ранний и трудный опыт его «полублатной» (как он выразился однажды) юности найдет отражение в глубоко личной поэме «Милое детство».

Это сирое и полубеспризорное существование длилось около двух лет. С приходом Октября у пятнадцатилетнего Иосифа началась, по его собственным словам, «активная политическая жизнь». Через некоторое время он вместе со старшим братом Александром идет в рабочую дружину и участвует в антиколчаковском восстании, организованном большевиками. А в мае 1920 года он, один из первых иркутских комсомольцев, отправляется добровольцем на Дальневосточный фронт. Позднее, в 30-е годы, составляя свою краткую автобиографию, он скупо напишет:

«В армии я был на разной работе: полевым информатором, трижды военком маршевых рот, военком армейского конского запаса и ремонтных мастерских...» [2]

Впечатления этих лет впоследствии легли в основу лучших произведений Уткина о гражданской войне — поэмы «Двадцатый», «Сибирских песен», знаменитой «Комсомольской песни» («Мальчишку шлепнули в Иркутске...»).

Конец 1922 года — поворотный момент в биографии Уткина. Он становится репортером иркутской газеты «Власть труда», и вскоре имя его начинает появляться на страницах сибирских газет и журналов. Так с девятнадцати лет начался его путь поэта.

На страницах «Власти труда» Уткин помещал свои первые стихи — написанные на скорую руку стихотворные репортажи-отклики на то, чем жила в те годы страна. Уткин писал о борьбе с религией, о биче беспризорщины, о горячо им любимой авиации, которая только что начала бурно развиваться. Время от времени в той же «Власти труда», под рубрикой «Маленький фельетон»,

---

[1] И. Уткин, Воспоминания (ЦГАЛИ).
[2] И. Уткин, Автобиография (ЦГАЛИ).

появлялись сатирические частушки, высмеивающие нэпмана, обывателя, мещанина, самогонщика и т. п. Печатавшиеся под наивной подписью «Утя», куплеты эти были довольно слабые, «работавшие», однако, на злобу дня. Изредка выступал Уткин и в журналах «Сибирские огни», «Сибирь», «Красные зори».

Зимой 1923 года при «Красных зорях» образовался кружок пролетарских поэтов под названием «ИЛХО» (Иркутское литературно-художественное объединение). Туда, вместе с будущими поэтами Д. Алтаузеном и М. Скуратовым, пришел и Уткин. «Илховцы» выпускали альманахи, устраивали вечера поэзии и дискуссии, вырабатывали творческие программы, с наиважнейшим и непременным условием «практического овладения старыми формами» и «критического освоения богатого опыта прошлого».[1]

Эти лозунги юный Уткин воспринимал порою слишком прямолинейно и писал такие, например, стихи о красноармейце:

На лбу искрятся пять углов.
В далеком взоре — буря веры.
Он незатейливый, он серый,
Строитель солнечных миров.

Ты за спиной не видишь крыл?
Под серым — сердца голубого?
Он, как апостол, для другого
Свое всё личное забыл.

И слава, светлостью жива,
В сердцах народа не остынет.
Он будет сказочный Добрыня,
Он будет сказочный Бова.

(«Красноармеец»)

Такими абстрактно-подражательными стихами (ибо здесь Уткин подражает не столько любимому им Блоку, сколько вообще образам и приемам поэзии начала века) мог бы начинать в те годы любой поэт и даже не поэт. И однако в эти же самые годы Уткин оказывается способным заговорить собственным голосом, просто и сдержанно:

---

[1] <Хроника литературной жизни.> — «Красные зори», 1923, № 5, с. 148.

ПИСЬМО

...Я тебя не ждала сегодня
И старалась забыть, любя.
Но пришел бородатый водник
И сказал, что знает тебя.

Он такой же, как ты, лохматый,
И такие же брюки-клеш!
Рассказал, что ты был под Кронштадтом.
Жив...
Но больше домой не придешь...

Он умолк.
И мы слушали оба,
Как над крышей шумит метель.
Мне тогда показалась гробом
Колькина колыбель...

Я его поняла с полслова...
Гоша,
Милый!..
Молю...
Приезжай...
Я тебя и такого...
И безногого...
Я люблю!

«Письмо» Уткин включал впоследствии почти во все свои сборники. И вполне справедливо: это стихотворение — первый удачный опыт молодого автора, ибо здесь ему впервые удалось взглянуть на мир сквозь призму индивидуальной человеческой судьбы.

В 1924 году Иркутский губком партии и губком комсомола решают отправить Уткина учиться в Москву. Так появился в столице будущий поэт, — во многом неискушенный, во многом — многоопытный человек, влюбленный в революцию и поэзию.

2

В Москве началась уже настоящая литературная биография Уткина. Сложилась она не просто.

Очень скоро Уткину удалось заявить о себе достаточно выразительно и оригинально. Сказать свое слово поэту молодому всегда

нелегко. Тем более это было нелегко в 20-е годы, когда гремел голос Маяковского, когда громадной популярностью и любовью пользовалась поэзия Есенина, когда жизнь литературная была очень интенсивна и каждый год обогащал поэзию новыми именами... Но Уткин не затерялся и не пропал.

В конце 1924 — начале 1925 года на страницах московских журналов «Огонек», «Прожектор» и «Смена» появились стихи Уткина о гражданской войне: «Рассказ солдата», «Расстрел», «Песня о матери» и другие. Написанные, как и стихотворение «Письмо», просто, искренне и вполне самостоятельно, они обратили на себя внимание А. В. Луначарского, который по первым же прочитанным стихам сумел как нельзя более точно определить характер дарования Уткина, его главные особенности, которым поэт остался верен на всю жизнь. «С одной стороны, Уткин твердый и ясный революционер, — писал Луначарский. — Революцию Уткин не просто знает, не просто пережил, а она стала именно такой идейно-эмоциональной средой, в которой принимают другую форму, облагораживаются, становятся на свое место... любые темы... Но, кроме этого, Уткину присущ чрезвычайно мягкий гуманизм, полный любовного отношения к людям. Эта любовь не сентиментальна. Она горяча и убедительна. Она совершенно легко сочетается с мужеством революционера и порою даже с необходимой для революционера жестокостью... Но там, где обе эти ноты — сознание революционного долга, заключающегося в служении перестройке на высших началах всей человеческой жизни, и сердечная нежность — соединяются в один аккорд, получается особенно очаровательная музыка. Она и слышится в строфах Уткина». [1]

Настоящий же успех принесла Уткину поэма «Повесть о рыжем Мотэле». Первое публичное чтение «Повести», состоявшееся во Вхутемасе на литературном вечере, послужило Уткину своего рода путевкой в поэтическую жизнь.

«Маяковский, — вспоминает об этом вечере И. Рахилло, — первый из поэтов публично признал и приветствовал тогда еще никому не известного молодого поэта...

Настроение у студентов <Вхутемаса> было приподнятое, праздничное. Маяковский привычно поднялся на сцену. Сняв пиджак, он деловито повесил его на спинку стула и без всяких предисловий начал читать стихи. Набатный бас его гремел. В зале было жарко и душно. Маяковский устал, но студенты требовали все новых и новых стихов.

Надо было устроить хотя бы небольшую передышку. Я объявил:

---

[1] А. Луначарский, Иосиф Уткин. — «Прожектор», 1925, № 22, с. 14.

— Сейчас выступит поэт Иосиф Уткин!

В зале вспыхнул неудержимый смех.

— Иосиф Уткин! Какой Иосиф Уткин?!

Всех развеселило непривычное сочетание библейского имени Иосиф с простой и обыденной фамилией — Уткин. Перекричать зал было немыслимо.

Уткин стоял за кулисами бледный и нервно кусал губы. Я обратился за помощью к Маяковскому:

— Владим Владимыч, прошу заступиться!

Маяковский шагнул на авансцену и поднял руку:

— Товарищи, это же неуважение к молодому поэту, давайте послушаем!

Уткин вышел на сцену при полной тишине. Он был в сапогах и в синей расстегнутой рубахе, из-под нее выглядывал уголок полосатой матросской тельняшки. Буйный костер взлохмаченных волос украшал его высоко поднятую голову. Он насупленно смотрел в зал. Сложившаяся обстановка была совсем невыгодна для первой встречи. Выступать в этой аудитории после Маяковского не всякий решился бы.

Уткин начал читать с подъемом, вдохновенно. Аудитория была захвачена врасплох, и многим, вероятно, стало неудобно и стыдно за свое поведение. Когда он закончил чтение главы, в зале поднялся невообразимый шум.

— Уткина, Уткина! — кричала одна половина слушателей.

— Маяковского, Маяковского! — требовали другие.

Маяковский снова вышел на сцену.

— Видите, а вы не хотели слушать! — улыбаясь, сказал он. — Если хотите, из нового я прочту вам «Сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий...». Правда, эта вещь у меня еще не совсем отделана...

— Просим, просим! — поддержали из зала.

Маяковский познакомил слушателей со своей новой сказкой. Затем Уткин дочитал поэму до конца и был награжден восторженными аплодисментами аудитории.

Широким шагом Маяковский пересек сцену и дружески, от всей души пожал руку молодому поэту.

— Замечательно, товарищ Уткин, — громко поздравил он, — заходите, Мясницкая, 21, к Асееву. Мы всегда будем вам рады!»[1]

Опубликованная в четвертом номере «Молодой гвардии» за 1925 год «Повесть» сразу стала заметным событием литературной

---

[1] И. Рахилло, Мечтатели, М., 1964, с. 429—430.

жизни. Всех привлек и заворожил ее совершенно оригинальный стиль: поэма была написана на том русско-еврейском жаргоне, который можно было слышать в провинциальных городах дореволюционной России и который был хорошо знаком Уткину. Автор «Повести» воспользовался этим языком смело и непринужденно, не побоявшись устных интонаций анекдота. Форма эта не была самоцелью, она была вызвана сутью: секрет поэмы в том, что написал ее Уткин от лица и с точки зрения сотен самых разных собирательных и нарицательных Мотэле, бедных и скромных тружеников, чью жизнь «перекроила» революция. Устный рассказ, ведущийся от лица каждого попеременно, — вот своеобразие жанра этой поэмы, в творчестве Уткина — явления исключительного и в дальнейшем не повторившегося.

Мотэле в поэме — формально один, а по сути — их много. Один (герой поэмы) кладет заплатки на жилет и никогда не плачет в горе; он же — или кто-то другой? — философствует о том, что для всякого счастье «курится» по-своему: «счастье — оно игриво: жди и лови»; для третьего (или сотого?) — дни революции «невозможно мудры», а четвертый сетует:

Много дорог, много,
А не хватает дорог.
И если здесь —
Слава богу,
То где-то —
Не дай бог.
— Ох!

Для одного первый день революции — «молодой, как заря», а другой, не поспевая за часами великих событий, ворчит:

И куда они торопятся,
Эти странные часы?..
...Ша!
За вами ведь не гонятся?
Так немножечко назад...

А события развиваются стремительно и не ждут. Привычный гнилой, застойный, а главное — несправедливый быт перевернут революцией вверх дном. Рыжий Мотэле, вчерашний кроткий портной, сегодня «не робок»: он — комиссар, он сидит в «сердитом» кабинете, вершит самыми важными делами, а бывший господин инспектор — теперь его секретарь, который эти дела «колет», подшивает. Жена инспектора весит уже «не семь, а пять» пудов. Раввин Исайя,

который еще совсем недавно вряд ли пустил бы Мотэле («Мотьку Блоха») к себе на порог, теперь идет на поклон к комиссару Блоху и предлагает свою дочь ему в жены. Неизвестно, чем кончается этот эпизод: он обрывается так же, как и ряд других.

Вся поэма соткана из кратких и внешне разрозненных сценок, наблюдаемых и комментируемых многими и разными Мотэле. Но, несмотря на эту отрывочность, всех «героев» роднит то, что каждый (по-своему) радуется происходящему, ибо то, что свершается, — это чувствуют все! — свершается на благо человека. Не для господина инспектора или раввина, которые людьми никогда и не были, а для сотен и тысяч безымянных Мотэле, каждый из которых по мере своих сил шагал «в ногу с тревожным веком». И пусть не все и не всё еще поняли до конца, им ясно одно: родина стала свободной и никто из них никуда не уедет, «даже в Америку»:

Милая, светлая родина,
Свободная родина!
Сколько с ней было пройдено,
Будет еще пройдено!

Эти слова Мотэле произносит вместе с автором, который в первый (и в последний) раз говорит от своего имени. Не позволяя себе лирических отступлений и предоставляя полную свободу высказываний своим многочисленным героям, Уткин достигает тонкого сочетания патетики и юмора, прозаических и лирических интонаций. В то же время шутливая, порой анекдотическая по форме, «Повесть о рыжем Мотэле» глубоко серьезна по содержанию своему и назначению. В каждой строке поэмы мы чувствуем авторское отношение к изображаемому, ощущаем незримо присутствующую личность поэта. О личности этой хорошо сказал А. В. Луначарский в рецензии на «Повесть», вышедшую отдельным изданием весной 1926 года: «У т. Уткина есть лирическое раздумье, у него есть умение понимать и далекие от нас типы. У Уткина есть большая жажда счастья... много задушевности и рядом с этим скромно, но горячо выраженный пафос, бесконечно много юмора». [1]

«Повесть», переливавшаяся всей гаммой голосов, интонаций и настроений в их оттенках и переходах, написанная живо и непосредственно, встретила почти единодушное одобрение. Поэму называли «значительным», «выдающимся», «незаурядным» явлением, ее автора — талантливым, многообещающим поэтом, и во всех без исклю-

---

[1] А. Луначарский, Иосиф Уткин. «Повесть о рыжем Мотэле...». — «Правда», 1926, 6 июня.

чения отзывах отдавалось должное ее яркому оригинальному слогу. Маяковский вспоминал: «Первый человек, купивший книжку Уткина о Мотэле, — я», и назвал поэму «хорошей вещью».[1]

Появление в печати «Мотэле» совпало с другим значительным для Уткина событием. 24 мая 1925 года вышел первый номер «Комсомольской правды», где вскоре Уткин стал вести созданную им воскресную «Литературную страницу». Вокруг «Комсомолки» быстро сгруппировались лучшие литературные силы. Достаточно сказать, что на «Литературной странице» были помещены «Гренада» М. Светлова, «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого, что подвалы ее постоянно занимал А. В. Луначарский своими статьями и беседами о литературе и писателях, о культуре и эстетике, о воспитании молодежи... Уткину приходилось организовывать весь этот обильный, разнообразный и интереснейший материал, а также вести переписку с начинающими писателями и поэтами. Иногда и сам он выступал со статьями, посвящая их, главным образом, литературному «молодняку», как тогда говорили; писал он о бережном отношении и одновременно о требовательности к «молодняцкой» литературе, о необходимости «глубокого овладения культурой и средствами художественного творчества», о литературной учебе, — словом, о тех трудностях и проблемах, с которыми он сам столкнулся при первых шагах в литературе...

3

Четырехлетие с 1925 по 1928 год для творческого пути Уткина — период самый сложный и противоречивый. Именно в эти годы формируется его поэтический талант.

Уткин пришел в поэзию в одно время с М. Светловым, А. Жаровым, М. Голодным, Д. Алтаузеном, составив вместе с ними плеяду комсомольских поэтов 20-х годов. Их всех роднил живой интерес к живому человеку, к его «трудам и дням», к его чувствам и мыслям. Как известно, подобное устремление пришло на смену абстрактно-декларативному направлению поэзии первого послеоктябрьского пятилетия, изжившим себя космизму и отвлеченности пролеткультовцев и писателей «Кузницы». Уткин был одним из тех, кто внес в молодую советскую поэзию лирическую конкретность, которой ей так не доставало на первых порах. Если творчество лучшего из

---

[1] В. Маяковский, Выступление на диспуте «Леф или блеф?» 23 марта 1927 г. — Полн. собр. соч., т. 12, М., 1959, с. 338.

комсомольских поэтов М. Светлова характеризовалось приподнятой романтикой чувств, А. Жарова — задорным юношеским пафосом, А. Безыменского — публицистичностью, то основными приметами поэзии Уткина были так верно увиденные Луначарским доверчивая задушевность, мягкость, теплота, сердечность его лирики (в чем, кстати, она была сродни стихам молодого Исаковского).

О чем пишет Уткин в те годы? Во-первых и в основном — о революции. «Я принадлежу к той счастливой части молодежи, — писал Уткин, — которая делала революцию и которых сделала революция. Поэтому я говорю не о влиянии Октября на мое творчество, а о рождении моего творчества из Октября».[1] Если попытаться перечислить стихотворения Уткина, где говорится о революции, то придется назвать все, что он тогда написал. Не прямо — так косвенно, не показывая — так размышляя, но о революции Уткин говорит всюду, пишет ли он о боевом походе, о возвращении с гражданской войны, о дружбе, о девушке или о своем старом доме...

При этом сюжеты и жанры поэзии Уткина весьма разнообразны, и везде поэт чувствует себя свободно: в лирическом любовном стихотворении, в пафосной боевой песне. Песня как жанр, кстати, впервые серьезно испытывается Уткиным в 1926 году (Исаковским — чуть раньше). «Гитара», «Курган», «Партизанская песня» — это первые шаги Уткина к народной песне, которой он впоследствии будет уделять все больше и больше внимания и в которой достигнет значительных высот в годы Великой Отечественной войны.

Почти все, о чем пишет поэт, он как бы пропускает через собственное лирическое «я» — мы остро чувствуем личность поэта, отношение к изображаемому, свойственное именно ему и никому другому. И в первую очередь — доброту к человеку, будь это герой гражданской войны или наивная «канцеляристка»...

Гуманность, большая человечность поэзии Уткина сразу была замечена критикой. «Его лирика знаменует переход от суровой эпохи борьбы к мирным условиям жизни не только тематически, но и по тембру; в ней... звучит нота мягкой гармонической нежности».[2] Сила стихов Уткина, по мнению другого критика, в том, что «в них есть живой человек, с его переживаниями, с его колебаниями...».[3]

Обаятельной делало поэзию Уткина также и то, что душевная мягкость сочеталась в ней с темпераментом молодости — это, разу-

---

[1] Советские писатели и Октябрь. Авторы высказываются в порядке анкеты. — «Читатель и писатель», 1928, 7 ноября.

[2] А. Палей, Певцы советской молодежи. — «Огонек», 1926, № 35, с. 12.

[3] М. Беккер. Иосиф Уткин. — «Книгоноша», 1926, № 26.

меется, не исключало грустных нот, — с оптимизмом и влюбленностью в жизнь; все это так и рвалось из его стихов. «Счастлив я и беззаботен», — признавался он с радостной непосредственностью («Ночной ручей»), а нытиков призывал к мужеству и оптимизму:

Пусть волна
Поднимет лапу,
Пусть волна
По веслам стукнет, —
Не смеяться и не плакать —
Песню,
Мужество
И руки!..

(«Песня бодрости»)

Жизнерадостность, темперамент молодости обусловливали пристрастие поэта к ярким краскам и блеску, к декоративной росписи. Особенно привлекали его золотые, сверкающие тона: «закат и золото тумана», «весенний золотой разлив», «пенистые гривы», «бронзовые сосны», «изумрудное небо», в ручье — «золотой клавиатурой отразилась высота», «льются трубы светло-медною водой» и т. п. Здесь таилась опасность потерять чувство меры: несколько напыщенно звучало, например: «кипят березы побеждающих надежд», «бронзовый якорь заката бросает московская ночь» и т. п. Но чаще встречаются удачные поэтические находки; и, как правило, искусство их — в простоте и правдивости аналогии: «рвал с посахаренных крыш буран серебряную роспись», «сугробы пахучих черемух совсем завалили окно», «сыплют хвойные ресницы сосны желтые над ним»...

Веселость, даже беззаботность не рождали у Уткина легкомысленного отношения к жизни. Напротив: многие стихи его — от интимной лирики до революционной песни — полны размышлений о судьбе родины и революции, о судьбе женщины, о судьбе своего сверстника... Еще в пору «Мотэле» он прошел бы мимо многого, а теперь стал иным, и сам чувствует это:

Нас годы научили мудро
Смотреть в поток до глубины.

(«Молодежи»)

Став старше, поэт увидел, что любая тема и сюжет — какие ни возьми — сложны, противоречивы и многообразны, ибо такова сама жизнь. Вот несколько типичных для его стихотворений ситуаций. Человек уходит сражаться за революцию, а его матери, которая как будто бы все понимает, тяжело «смотреть на душегуба-сына»

(«Поход»). Герой вернулся домой с гражданской войны, и ему кажется, что таким, как он, «друзья и нежность» нужны «много больше, чем другим» («Песня»). Он же «с любовью и с нежностью» вспоминает теперь «политые кровью бранные года», о которых напоминает ему военная гитара, спутница боевых походов («Гитара»). При этом он не скрывает, что наслаждается заслуженным и выстраданным счастьем «покоя» («Ручей»). Но не менее сильно в нем печальное сознание того, что оставшиеся в живых, после того как «отволновались громы», слишком мало помнят о тех, кто погиб за революцию («Двадцатый» — отрывок из поэмы). Самодовольная раскрашенная кукла, спесивый пустоцвет, демонстрирующий свои «прелести», — кому нужна она и что может ждать ее в будущем? Забудут, «как красивую собачку» («Стихи красивой женщине»). А вот антипод ее — скромная девушка, которая сидит на скучной службе; мысли ее далеко, и зеленое сукно стола кажется ей морским прибоем («Канцеляристка»). Такую девушку поэту хочется «толкнуть на мудрое раздумье», чтобы она поняла «грусть, и радость, и борьбу» своего времени («Песня о песне»). Если же человек, вопреки очевидности, не видит ничего, кроме «ужаса бездорожья», то никто не может отнять у него «права умереть» («Слово Есенину»)...

Таков вкратце круг главных и излюбленных уткинских тем.

Сейчас, сорок лет спустя перечитывая эти стихи, мы можем упрекнуть их в некоторой наивности, но в целом они не вызывают у нас категорического несогласия.

Однако тогда, в первое послереволюционное десятилетие, некоторые произведения Уткина звучали по-иному. В атмосфере второй половины 20-х годов, когда вопрос «кто — кого?» еще не был снят с повестки дня, в условиях вынужденного и продолжающегося нэпа, — любое явление художественного творчества, в котором революционное сознание не находило прямолинейного, непосредственного отражения, вызывало резкий протест. А поэзия Уткина, что видно уже при беглом обзоре ее тематики, давала повод к таким протестам. Можно ли было, в самом деле, безоговорочно принять «Песню о матери» (в ее первой редакции), в которой старуха осудила сына, вернувшегося с гражданской войны, за то, что он «убийца»? Или оправдание самоубийства, притом самоубийства большого поэта?

Анализ творчества Уткина той поры позволяет сделать вывод о том, что его поэзии было свойственно известное противоречие. С одной стороны, как уже было сказано, она проникнута духом революционного героизма, она гуманна и вполне конкретна: в центре ее — молодой современник, с живыми чувствами и мыслями, с есте-

ственной потребностью в земных радостях, даваемых мирной жизнью на мирной земле. С другой стороны, сам процесс этой, условно говоря, перенастройки поэтической лиры на новый лад носит несколько демонстративный и декларативный характер, причем тема личной жизни и тема строительства новых общественных отношений в творчестве Уткина подчас кажутся отъединенными друг от друга. В его произведениях тех лет встречаются строки неожиданные или художественно немотивированные. Так было, в частности, со стихотворением «Гитара», пятая строфа которого в течение долгого времени доставляла Уткину много огорчений. Вот как звучит она в контексте четвертой и шестой строф:

Всегда смотрю с любовью
И с нежностью всегда
На политые кровью,
На бранные года.

Мне за былую муку
Покой теперь хорош.
(Простреленную руку
Сильнее бережешь!)

...Над степью плодоносной
Закат всегда богат,
И бронзовые сосны
Пылают на закат...

И дальше:

Но стань я самым старым, —
Взглянув через плечо,
Военную гитару
Я вспомню горячо.

По существу, в строфе о простреленной руке звучит мотив, отнюдь не определяющий всю идейную направленность произведения. Пафос стихотворения — в прославлении *«военной»* гитары, неразлучной подруги «бранных дней», которая для поэта — заветный символ героического прошлого. И понятно, почему в заключительных строках поэт просит любимую подарить ему гитару, «если, вновь бушуя, придет пора зари», т. е. если снова придется сражаться за жизнь советской родины.

Однако именно пятая строфа вызвала чрезмерно шумные нарекания критики, как будто только в этом четверостишии был сконцентрирован весь идейный смысл стихотворения. За пятую строфу

Уткина долгие годы обвиняли в воспевании мещанского покоя и уюта, в пристрастии к «помадной идиллии приказчиков». А вот несколько иной пример.

В стихотворении «Свидание», написанном эмоционально, — возможно, излишне торжественно, — воспевающем радость встречи с любимой на мирной земле, есть строфы, звучащие как лозунг поэта:

И, может быть, в годы железа
И я быть железным сумел,
Чтоб в лад боевой марсельезы
Мне девичий голос гремел.

Как рад я,
Что к мирным равнинам
Так выдержанно пронес
И мужество гражданина,
И лирику женских волос...

В этих словах — характерное для поэзии Уткина того времени сплетение гражданственных и интимных настроений. Однако если в первой из процитированных строф достаточно убедительно и исчерпывающе выражено «credo» поэта, то вторая строфа звучит с неприятным оттенком самолюбования, не говоря уже о том, что «лирика женских волос» — вообще неудачная попытка некоей обобщенной формулы.

Надо, впрочем, оговориться, что такого рода срывы в легковесную декларативность, в дешевую красивость, в банальщину и т. п. были своего рода «болезнью роста», от которой поэт довольно быстро излечился.

Нужно ли объяснять, что споры, вызываемые некоторыми уткинскими стихотворениями, были явлением столь же естественным и закономерным, как вся его поэзия в целом, как сама породившая эту поэзию эпоха? Иное дело, к чему практически приводили эти споры, во что они перерастали. Так, если энергичная критика Маяковским некоторых уткинских стихотворений («Атака», «Стихи красивой женщине», «Курган», см. примечания к ним) была формой борьбы его за молодого пролетарского поэта, чью поэму о рыжем Мотэле Маяковский высоко оценил, то вульгарно-социологическая критика резко искажала творчество поэта, своими грубыми нападками работая на подавление его, что особенно выявилось в конце 20-х годов.

В самом начале 1927 года вышла «Первая книга стихов» Уткина, составленная из произведений 1923—1926 годов. С большой положительной рецензией выступил Луначарский. Он писал: «Уткин

высоко ценит боевое прошлое и вообще боевой дух революционного строительства, но вместе с тем он чувствует ... что мы должны стать менее косматыми, что наше время, с одной стороны, позволяет, с другой — даже требует известную гибкость, известную музыкальность, известную чуткость строя нашего сознания. Уткинская поэзия есть музыка перестройки наших инструментов с боевого лада на культурный». Одновременно Луначарский заметил, что «у Уткина достаточно боевых воспоминаний и боевой готовности» и что «в этом он берет правильную ноту». Далее Луначарскому пришлось объяснять содержание тех стихотворений, которые вызывали споры в критике, в частности втолковывать «антигитаристам» (как он выразился) истинный смысл этого стихотворения. При всем том Луначарский не закрывал глаза на возможную в принципе для современного поэта опасность «влиться в русло стремления к комфорту, сентиментализму, культурному мещанству», отмечая, что пока в творчестве Уткина таких настроений нет, зато «крик, поднимаемый по этому поводу», «чрезмерен». [1]

Статьи Луначарского были, в сущности, единственными, где творчество Уткина оценивалось сколько-нибудь всесторонне и объективно. Ибо даже самая доброжелательная и внимательная к поэту критика, видя в его стихах отражение текущего этапа в развитии советского государства, истолковывала лирику Уткина упрощенно и односторонне. [2]

Конец 20-х — начало 30-х годов был сложным периодом творческой биографии Уткина. Поэт одинаково отрицательно относился и к лефовцам, и к конструктивистам, и к платформе РАППа, считая свое творчество, свою литературную позицию ни от кого не зависимыми. Причиной такого обособленного положения, нужно думать, послужила однобокая оценка его творчества и недостаток внимания к поэту, который вдобавок, по свойству характера, вообще болезненно воспринимал критику. Продолжающиеся же нападки лишь разжигали его раздражение. Поэтому никаких выводов для себя из того рационального, что содержалось в критике, Уткин не делал и упрямо писал такие программные стихотворения, как например «Волосы» или «Взглянув через плечо...», в которых вновь и вновь декларативно отстаивал свое право воспевать «волосы черного пламени». Неоднократно перепечатывая свою «Гитару», он каждый раз

---

[1] А. Луначарский, Иосиф Уткин (По поводу «Первой книги стихов»). — «Комсомольская правда», 1927, 20 февраля.

[2] См., например, рецензии: В. Вешнев, Поэт пролетарского романса («Молодая гвардия», 1927, № 5, с. 219) и А. Лежнев, Иосиф Уткин («Новый мир», 1927, № 7, с. 170).

упорно оставлял злополучную пятую строфу. Между тем упреки поэту в самолюбовании сменились обвинениями в эстетстве и индивидуализме, а отсюда был ровно шаг до объявления творчества Уткина мелкобуржуазным, что и было сделано. В первом номере журнала «На литературном посту» за 1928 год появилась статья Д. Ханина о мелкобуржуазных уклонах в творчестве Уткина.

4

Самого поэта в то время не было в Москве. В конце января 1928 года, после окончания Института журналистики, он, вместе с поэтами А. А. Жаровым и А. И. Безыменским, был послан за границу — в Чехословакию, Австрию, Италию и Францию. По приглашению Горького, жившего тогда в Сорренто, все трое десять дней гостили у него. «Сейчас у меня живут три поэта: Уткин, Жаров, Безыменский, — писал Горький Сергееву-Ценскому 5 февраля 1928 года. — Талантливы. Особенно — первый. Этот — далеко пойдет».[1] Горький сочувственно отнесся к «Повести о рыжем Мотэле», а после того как Уткин прочитал ему отрывки из поэмы «Милое детство» (которую начал писать еще в 1926 году и над которой продолжал работать даже в заграничном путешествии), сказал: «Когда я прочел «Мотэле», я подумал — ну, человек, так начавший, или сделает очень многое, или ничего. Теперь я вижу, что это — *настоящее и надолго — что это натура*».[2]

15 февраля 1928 года Горький писал В. П. Полонскому: «В последнем № «На литературном посту» прочитал удивительно детскую статейку о стихах Уткина, талантливейшем поэте, к которому следовало бы относиться очень бережно и заботливо».[3] Эту мысль Горький повторил в статье «О пользе грамотности», написанной в те же дни и отправленной в Москву в газету «Читатель и писатель». Взяв под защиту творчество Уткина, Горький выступил против тех критиков, которые относились «к молодым и начинающим писателям недостаточно заботливо и внимательно».[4]

---

[1] М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 30, М., 1955, с. 72.

[2] И. Уткин, Письмо к Д. Алтаузену от 28 февраля 1928 г. — «Горьковские чтения», М., 1964, с. 250.

[3] Летопись жизни и творчества А. М. Горького, т. 3, М., 1959, с. 576.

[4] М. Горький, О пользе грамотности. — Собр. соч. в тридцати томах, т. 24, М., 1953, с. 324—325.

Возвратясь на родину, Уткин, вдохновленный беседами и советами Горького, заканчивает первый вариант поэмы «Милое детство». Приехав вскоре после возвращения из-за границы в Баку, он публикует главы из поэмы в газете «Бакинский рабочий». Одновременно поэт продолжает отделывать и «шлифовать» поэму. Сохранившиеся рукописи «Милого детства» показывают, что работал он неутомимо, переделывая еще и еще раз уже написанные, казалось бы, вполне готовые главы.

На некоторое время Уткин, раздраженный внутрилитературными «распрями», прерывает работу над «Милым детством»: в июле 1928 года он пишет поэму «Шесть глав». В произведении этом, злом, озорном и желчном, звучит запальчивый, срывающийся от обиды голос, — негодование автора порой перехлестывает через край, в ущерб мастерству; написана поэма поспешно, местами — небрежно. Однако, несмотря на это обстоятельство, а также на «зашифрованность» поэмы (сюжет преподнесен в виде сна), она достаточно ясно выражает ненависть автора к бюрократам, перестраховщикам и лицемерам.

Именно равнодушные чиновники от литературы (такие, как Д. Ханин, А. Воронцов и другие), извратив и исказив истинное содержание поэзии Уткина, продолжали по инерции приписывать ему мелкобуржуазность и эстетство, ведя речь, по сути дела, всё об одних и тех же (пяти-шести) стихотворениях. Между тем творческие помыслы поэта уже с 1926 года сосредоточены были на размышлениях о судьбе своего сверстника, закаляющего характер в огне революции и идущего к «настоящей жизни». Под таким названием Уткин задумывает поэтическую трилогию, первая часть которой рассказывает о детстве героя — первом этапе его жизни. Во второй части трилогии речь должна была идти о гражданской войне, в третьей — о современности (конец 20-х годов). Однако вместо трилогии написана была одна поэма.

«Милое детство» — может быть, самая «субъективная» вещь из всего созданного Уткиным. Субъективная в том смысле, что личность автора и облик героя как бы слиты воедино. Обо всем — с точки зрения подростка-полубеспризорника, озлобленного — и нежного, циничного — и «с детства — романтика», стоящего на один шаг от преступления и на столько же от подвига. Больше всего он любит, лежа на крыше, плевать оттуда вниз — «на весь божий пошленький уездный мир». Ненависть к миру затхлой, мещанской морали, в котором он вырос, — вот что движет поступками этого, пока еще не состоявшегося человека. Совершенно сознательно Уткин отбросил литературный, «добродетельный» вариант первой части. В этом варианте

мотив ненависти к мещанскому «царству» отсутствовал полностью, хотя герой выглядел, быть может, более «положительным». Но «положительность» как раз и не была ему нужна. Привлекательность поэмы в том, что герой ничего о себе не скрывает. Не скрывает, что в мире, где все ему враждебно, он стал уличным мальчишкой не столько виной обстоятельств, сколько, так сказать, по влечению сердца, вернее — от ненависти к тетке, которая для него этот мир олицетворяла. Резким, угловатым, озорным мальчишеским языком, в который прочно вросли «полублатные», жаргонные словечки, рассказывает он о себе. О том, как тетка, вторгшись в его вольную, беспризорную жизнь, решила «посвятить» его «господу и торговле». О том, как в его мозгу зародилась мысль «угробить» тетку. О том, как к этому представился удобный повод, но судьба распорядилась иначе...

«Я хочу показать, — писал Уткин Горькому 3 октября 1928 года, — ...силу *органической чистоты человека,* так сказать, врожденность совести... хочу привести из ночлежки человека в революцию. И особенно поэтому... я стараюсь показать влияние природы на человека».[1] И действительно, где бы ни был герой и что бы ни делал, его сопровождает неизменный спутник — природа. Ибо любовь к природе — другая движущая поступками героя сила. Парень талантлив — потому что он умеет смотреть и выражать то, что видит, на своем колоритном жаргоне. Воробьи у него «бренчат», «на белопером снегу воронье мечет трефовые карты», облако «покачало седой головой», дождь «на цыпочках прошел». И все это он умудряется видеть, можно сказать, «между делом». Вот, например, герой не успел еще прийти в себя от удивления по поводу неожиданной смерти тетки, а он уже — с непосредственностью подростка! — замечает, что канарейки «поют и прыгают в клетке —

И седину
Отряхает сосна.
И ледяные осколки
Повсюду...
Это — весна!

Это весна
Зимнюю
Бьет
Посуду!..

---

[1] Письмо от 3 октября 1928 г. — Архив А. М. Горького. Институт мировой литературы им. А. М. Горького (ИМЛИ).

В герое «Милого детства» жива душа именно потому, что, ненавидя мир тетки, он любит и противопоставляет этому миру *свой* — полный красок, цветов, запахов. Только людей в этом мире он пока не обрел, ибо сомнительный его дружок Костя — это товарищ поневоле, а Леля — у Лели есть папа и трехэтажный дом, этим все сказано. И вот, после всех передряг, герой с приятелем босиком уходят прочь из Иркутска, в туманную даль, «на восток», — так в 1929 году завершалось «Милое детство».

После двухлетнего перерыва поэт вернулся к поэме и в 1932—1933 годах закончил ее, написал финальную главу и эпилог. В последнюю главу он вложил то, о чем прежде намеревался рассказать во второй части трилогии — «Гражданская война»; в эпилоге же обозначил те вопросы, которые должны были стать темой третьей части — «Современность». Поэма получила органичное завершение, а ее герой — отчаянный и неприкаянный, но чистый и подлинный — обрел «настоящую жизнь». Настоящую не только потому, что бежавшим из Иркутска паренькам посчастливилось наткнуться на отряд красных и остаться в нем, — решить вопрос таким образом было бы чересчур несложно. Главное в том, что герою пришлось подвергнуться испытанию на подлинность в нем человека, — и испытание это он выдержал. В один «прекрасный» день, убедившись внезапно, что его дружок Костя попросту мародер, мальчик, после неудачных попыток убедить Костю в чудовищности его поступка, среагировал молниеносно: он выпустил в своего бывшего друга все шесть зарядов из нагана... Тем самым он символически расстрелял свое незадачливое и темное прошлое:

Детство мое!
Мой расстрелянный мир!
Милое детство?!

А рядом...
Я оглянулся:
Стоит командир,
Мой командир отряда.

Сомнительная, «полублатная» биография кончилась; в преддверии биографии революционной поэт расстается с героем, предоставляя (в эпилоге) читателю свободу размышлять над его дальнейшей судьбой.

5

Острая конфликтность поэмы, ее психологизм, оригинальный, смелый и образный язык давали право поставить «Милое детство» рядом с «Повестью о рыжем Мотэле».

Однако это любимое детище Уткина в печати одобрения не получило, ни тогда, когда автор печатал первые главы, ни после выхода ее отдельной книжкой в 1933 году. Нападки на поэта продолжали усиливаться. Во многом это связано было с общей ситуацией, сложившейся в конце 20-х — начале 30-х годов в литературе, когда развитие ее было осложнено диктаторскими требованиями разных писательских объединений и группировок, претендовавших на законодательное руководство советской литературой. Эпоха требовала не только умения рассказать о том новом, что создавалось во всех концах страны в годы первой пятилетки и индустриализации; не только публицистической остроты пера при обращении к теме кризиса в капиталистических странах и обострения международных отношений. Время требовало также углубленного проникновения в суть происходящего и, конечно, во внутренний мир нового человека. Между тем некоторые поэты, в частности А. И. Безыменский, а также критики начали с вызовом декларировать ненужность, даже вредность лирики в годы «великих конструкций», проповедовать суровый аскетизм, переключение личной жизни в область жизни коллективно-производственной, переживаний отдельной личности — в сферу переживаний исключительно социальных. Упрощая задачи, стоящие перед литературой, а также опираясь на неверный лозунг «союзник или враг», некоторые деятели РАППа выступили инициаторами травли и вульгарного толкования творчества писателей, не подчинявшихся рапповским установкам, и вдобавок — «непролетарского» происхождения или не состоявших в РАППе. В числе последних оказался и Уткин. В апрельском номере «Молодой гвардии» за 1929 год появилась статья под грозным, «пригвождающим» названием: «Иосиф Уткин как поэт мелкой буржуазии». В ней по пунктам «доказывалось», что все без исключения темы поэзии Уткина, равно как и подход поэта к изображаемому, «вырисовывают... социально-психологический образ — „мещанина“».

Подобные выступления и настроения сделали свое дело: Уткин и впрямь уверовал на какое-то время в собственную «мелкобуржуазность». Внушив себе, что выражение человеческих чувств в его творчестве — это издержки «буржуазного миросозерцания» и результат влияния «формализма и эстетства», поэт декларативно отрекся от своего лирического «я»:

А нам не положено вброд
Плестись
по сердечным постоям,
Когда современность
берет
Девятый
в бетон
Днепростроя.

(«Проблема формы»)

Под этим лозунгом идет развитие поэзии Уткина в 1929—1931 годы. Каясь в «отсутствии классовой четкости» в собственной лирике, Уткин обещает, что новые его работы будут свидетельствовать о происшедшем в его миросозерцании «переломе».[1] Эти новые работы появляются в январском номере «Молодой гвардии» за 1930 год. В первой из них — программном стихотворении «Герой нашего времени» (1929) — поэт провозглашает новую тему и нового героя своего творчества. Задача поэта отныне — писать о рабочей Москве, о трудовом дне рабочих, «кроющих» абстрактный «чудовищный» бак, о возвращающемся после работы домой усталом «соседе» (также обрисованном совершенно обобщенно). В другом программном стихотворении, «Проблема хлебопшена» (1929), автор пытается говорить уже непосредственно от имени нового героя, который (опять-таки надуманно) решает дилемму: что в первую очередь нужно «питать»: собственные желудки или плавильную печь? Второе — безоговорочно решает герой (и поэт вместе с ним), — дабы не возродился в стране «трехцветный позор» (империя), страшные призраки которого он совершенно явственно себе представляет. Стихотворение это, как и другие подобного рода, написано в несвойственном Уткину схематичном и весьма примитивном плане. Мысль, выраженная в заключительном аккорде стихотворения: «личность, домашности — в стороне, — давайте скажем стране» — звучит неточно и неубедительно, а главное — упрощенно. Проблему нехватки «хлебопшена», то есть временных материальных затруднений, поэт неправомерно связывает с необходимостью оставить на время «в стороне» человеческую личность вообще...

Личность эта — живой, конкретный человек — ушла из поэзии Уткина. Поэт, совершенно сознательно, теперь старается не замечать «ни форм, ни лиц». Стремясь встать своей эпохе «во фланг и рост»,

---

[1] Иосиф Уткин, Признаю свои ошибки. — «Комсомольская правда», 1929, 21 декабря.

он видит ее лишь в целом и в общем. Словами: «наивен лирический твой шалаш среди небоскребов, поэт» («По дороге домой», 1929) он, в сущности, обрекает свое творчество на риторическую обобщенность.

Годы 1930—1931 можно назвать периодом искусственно сконструированной поэзии Уткина, или, как он сам назвал большинство своих стихотворений той поры, — периодом «публицистической лирики». Уткин пишет много стихов в газеты «Правда», «Известия», «Рабочая Москва», «Комсомольская правда» — о Красной Армии и комсомольской конференции, о советской женщине и ударниках стройки, об электрификации и «бдительности у границы»... В 1930 году Уткин создает либретто оперы «Вышка Октября» (музыка Б. Яворского), поставленной в Большом театре к тринадцатой годовщине Октябрьской революции. Были в творчестве Уткина тех лет бесспорные удачи: «Песня старого рабочего» из «Вышки Октября», «О юности», «Война и мир» и другие, не говоря уже о том, что публицистика как жанр была очень нужна в те годы. Однако для творчества Уткина этот период был наименее удачным, ибо поэт выступил в несвойственном для себя жанре. Ему пришлось воспользоваться чужой, готовой формой стиховой публицистики Маяковского, подражать его интонациям, — получалось натянуто и бесцветно.

В 1931 году лучшие из газетных стихотворений Уткина вышли отдельной книжкой под названием «Публицистическая лирика». Рецензия на нее была отрицательной. Нелепый ярлык «мелкобуржуазности» не отлип от поэта. Несмотря, однако, на несправедливость отзыва в целом, в нем содержалось верное суждение о том, что Уткин, повернувшись к новым темам, «увидел лишь внешнюю сторону действительности» и «не смог глубоко осмыслить увиденное».[1]

Несомненно, что Уткин и сам не был удовлетворен своим творчеством; а главное — понял, что его добровольное отречение как поэта от самого себя было заблуждением. Это видно уже по некоторым стихам 1932 года, в которых ощущается стремление поэта вернуться к самому себе, точнее — вернуть стихам своего лирического героя. Если в стихотворениях «Переваливая через...», «Легкомыслие» попытка утвердить лирическое «я» сделана в тоне нарочито шутливом (настанут светлые времена, мечтает он, когда «будет рада вся страна легкомыслию поэта»), то стихотворение «Соль» звучит вполне весомо и серьезно. Творец своей эпохи имеет право на воплощение в поэзии своей личности и, утверждая это право, возражает подразумеваемому инакомыслящему:

---

[1] И. Виноградов, Из лирического шалаша. — «Литературная газета», 1931, 12 ноября.

...Ты глядишь
С укоризной, товарищ?
Современник
И автор побед, —
Уверяю:
Без соли
Не сваришь
Ни один стихотворный обед.

«Соль» дарования Уткина — глубоко прочувствованный мягкий лиризм. Публицистика была неорганичной для него и потому — «пресной». В том же 1932 году поэт конспективно записывает в блокноте: «Когда поэзия функциональна? Когда — искренна, а искренна — когда органична. Органична поэзия до тех пор, пока работает в сфере, действительно близкой. Перестроиться — это не значит: умом постичь — но и перевести в лирическую память. *О чем* писать — это еще только половина...» И дальше верная и для Уткина очень важная мысль: «Лирика — это не форма маленького стиха и темы, это — этический жанр стиха». [1]

Строкам этим предпослано заглавие: «Решенье ЦК и лирика», — это, очевидно, тезисы какой-либо статьи или выступления по поводу постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Последовавшая за этим решением ликвидация РАППа и образование в 1934 году единого Союза советских писателей разрядили напряженную атмосферу, положив конец существованию замкнутых литературных группировок. В программах поэтических вечеров Уткина тех лет неизменно стоял пункт «Больные вопросы»: «Актуальная поэзия и поэзия активная» и — неизменное и самое для поэта животрепещущее — «Лирика — этический жанр».

Этический — потому, что лирика занимается «отношением и взаимоотношением поэта и действительности, норма же отношения личного и общественного есть этика». [2] Какова этика поэта, таково и его творчество, насущность его, долговечность его.

Зрелая поэзия Уткина (1933—1940) и стала выражением этического «я» поэта. Лучшие его вещи той поры — стихи о гражданской войне, о мальчишках, подобных герою «Милого детства», разными путями приходящих в революцию; они были особенно дороги Уткину: ведь в каждом из них заключалась частица его собственной биографии — и души. В стихотворениях «Бой» (1933), «Комсомольская

[1] ЦГАЛИ.
[2] Там же.

песня» (1934), «Песня о пастушке» (1936), «Песня о младшем брате» (1938) Уткин рассказывает об этих героических ребятах, вкладывая в слова всю сердечную нежность и умея выразить трагическое предельно просто и лаконично:

Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюдце,
Блестели зубы
У него.

Над ним неделю измывался
Японский офицер в тюрьме,
А он всё время улыбался:
Мол, ничего «не понимэ»..

. . . .

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!

(«Комсомольская песня»)

Такой же высокой простоты достиг Уткин и в других стихах о гражданской войне, которых он в 30-е годы написал немало,— «Батя», «Провокатор», «Маруся», «Песня об убитом комиссаре», «Свеча», «Народная песня», «На фольварке» и другие. Они глубоко народны, и секрет тут не в нарочито простонародных, подчас песенных интонациях, которыми поэт великолепно владеет, а в том, что произведения эти написаны с точки зрения народных революционных масс, и — что самое важное — эта точка зрения народа, его оценка событий, его любовь и его ненависть органично и естественно слиты с чувствами поэта, независимо от того, чьими устами говорит поэт: своими ли собственными («Комсомольская песня», «Вспоминая у витрин Госторга. . .», «Прощание»), матери героя («Свеча»), боевого своего товарища («Маруся»)... И — ни одного надуманного слова, ни тени рисовки, ни следа риторики. Лучшие стихотворения, говоря словами Уткина, рождены «из глубины существа» поэта.

По сравнению с творчеством 20-х годов, в 30-е годы лирика Уткина претерпевает вполне определенную и закономерную эволюцию. Она очищается от накипи декоративных «красивостей» и не-

уклюжих наивных назиданий. Стих проясняется, все больше тяготея к народно-песенному:

Близко города Тамбова,
Недалёко от села,
Комиссара молодого
Пуля-дура подсекла.

Он склонялся,
Он склонялся,
Падал медленно к сосне
И кому-то улыбался
Тихо-тихо, как во сне.

(«Песня об убитом комиссаре»)

Только теперь поэтическое ремесло дается ему труднее (не побоимся этого слова!), чем прежде, ибо со зрелостью к поэту пришла строгость и взыскательность. «„Вытащить“ из себя стихотворение в том самом виде, в котором ты его почувствовал, — трудно, — писал Уткин. — Гораздо легче ходить вокруг да около по эффектной „своей“ дороге». [1]

Легкая «эффектная» дорога навсегда осталась позади пройденного поэтом пути. «Звенящие волны», «бравурность нежного оркестра» и «золотая клавиатура» — все эти и им подобные цветистые вычурности ушли в невозвратное прошлое. Зато за простейшим, незамысловатым стихотворением подчас стоит более десятка черновиков. Такая требовательность к себе Уткина связана была и с его непрестанными размышлениями о судьбах поэзии вообще и лирики — в частности. Главными темами всех его публичных выступлений были: природа лирической поэзии и ее назначение, честность, бескомпромиссность и абсолютная искренность художника; нерасторжимая связь лирики и этики и т. п. Полемически заострив свою мысль, Уткин высказался однажды: «Человек, чуждый лиризма, — общественно опасный человек... Лирика — борьба за *тип* человека». [2]

Борьба за лирику (именно в том правильном смысле, в каком понимал ее Уткин) была делом нелегким и после ликвидации РАППа, в середине и конце 30-х годов. В литературе заметно ощущалась тенденция к иллюстративности, парадности и бесконфликтности. В этих условиях судьба Уткина продолжала складываться неудачно.

---

[1] ЦГАЛИ.
[2] Там же.

Все эти обстоятельства не могли не сказаться на творчестве поэта первой половины 30-х годов. С горечью говорит он о том, что критика его «не понимала сроду» («Охота на уток»); что мало кому дела «до такой захолустной глуши», как душа человеческая («Оправдание»); что не раз приходилось ему умирать «от смертельного раненья в область сердца и души» и порою просто хотелось сесть в поезд и унестись «подальше» из-под «огня» непонимания и недоброжелательства («Из окна вагона», «Кассир»).

Не о себе, не о перипетиях собственной внутренней жизни писал здесь Уткин, а об отстаиваемом праве поэта на художественное познание современности средствами лирики.

Не становясь при этом в позу несправедливо обиженного, поэт понимал главное: звучание его «честной строки» помогает людям жить, а значит, надо бороться за сохранение искренности, подлинности поэзии, вопреки узким теориям и «установкам». Интересно в этом отношении стихотворение «Поэту» (1939). Притворившись, что он пересматривает собственное творчество (в котором, еще по мнению критики 20-х годов, поэт слишком рано заговорил о седине и грусти), Уткин иронически «утверждает» необходимость нравственной и творческой «перестройки»:

Нелепая эта идея —
На возраст коситься в стихах,
Писать: угасаю... седею...
И — ох, дорогая, и ах!

Напротив: седин не касаясь,
Тверди, не жалея труда:
«Я молод, — тверди. — Я красавец.
Я юн... и еще хоть куда!»

Пускай в это верится слабо,
Ты все-таки цели достиг:
Не выйдет любовь... то хотя бы
Получится радостный стих...

Быть самим собой, писать правду — к этому взывало стихотворение, этому подчинялось все творчество Уткина 30-х годов. Мы не найдем в зрелой поэзии Уткина каких-либо следов приспособления к догматическим «теориям», попыток механически сочетать «личное» с «общественным», компромиссов с собственной совестью.

Лирический герой зрелой поэзии Уткина — это не прежний жизнерадостный юноша, выглядевший порою несколько самодовольным в любовании своей неуемной бодростью и собственным духовным

возмужанием. Это — сдержанный и скромный в выражении чувств человек. Но сами чувства его, равно как и глубоко человечная суть, остались неизменными. По-прежнему всем сердцем любит он родину, ее природу, которая теперь чаще видится поэту не в бронзово-золотистом цвете, а в прозрачно-осенних, больше же всего — снежно-белых, зимних пейзажах («Осень», «Память», «Лыжни», «Утро», «Первый снег», «На деревья и на зданья...» и другие). В стихотворении «Тройка», навеянном пушкинскими «Бесами» и «Зимней дорогой», картина русской природы, переданная красками народной песни, превратилась в апофеоз Родины, горячо любимой поэтом и непреодолимо и неустрашимо устремленной в будущее:

Кто навстречу: волк ли, камень?
Что косится, как дурной,
Половецкими белками
Чистокровный коренной?

Нет, не время нынче волку!
И, не тронув свежий наст,
Волк уходит втихомолку,
Русской песни сторонясь.

А она летит, лихая,
В белоснежные края,
Замирая, затихая,
Будто молодость моя...

Неизменным и постоянным качеством поэзии Уткина осталась теплота его к человеку, что особенно заметно сказалось в его любовной лирике. Чаще всего Уткин пишет о несовпадении двух человеческих миров: «нет переправы» между двумя «насторожившимися державами», врозь расходятся две лыжни, любимая отказывается от подаренного ей сердца: «говорит, другое есть»... Но никогда, ни единым словом не осуждает поэт любимую; грусть и сожаление о случившемся — вот и все («Семейная хроника», «Посвящение», «Почему?», «Сердце», «Лыжни», «Старая песенка», «Задала любовь задачу...» и другие). Но когда любовь взаимна — стихотворение излучает радость («Типичный случай», «Счастье», «Телефон»). Отношение к людям просто и сильно выражено Уткиным в двух строках, где он пишет о страстном своем желании, чтобы

Всё великое свершалось
Для любви, а не для злобы.

(«Телефон»)

Но далеко не все, как видел поэт, свершалось «для любви». Факты нарушения социалистической законности в конце 30-х годов наложили отпечаток на творчество многих советских писателей, в том числе и на поэзию Уткина. Приступы пессимизма, даже отчаяния иногда врасплох застигали поэта. В такие минуты ему казалось, что он одинок и затерян в жестоком мире, что в сплошном мраке лишь он один страдает и «горит», что, быть может, выход в том, чтобы «подольше спать — не просыпаться».

Внимательно приглядываясь к тревожным явлениям в жизни 30-х годов, поэт, однако, понимал необходимость побороть растерянность, чувство беззащитности и обреченности. Показательно в этом отношении стихотворение 1940 года «На прогулке»:

На меня не хищник лютый
Нагоняет лютый страх
И не волчий мех, а люди
В меховых воротниках.

Да и много ль надо волку?
Волку только покажи —
Не винтовку, а двустволку...
И пойдет он вдоль межи,

Будто нищий, озираясь,
Шкуру серую спасать...
Нет, не волк, а серый заяц —
Вот ты с кем попробуй сладь!

Ни в лесу, ни в снежном поле,
А в глуби своих мерзлот,
А в груди, где, как в подполье,
Заяц душу нам грызет.

В этих строках Уткин утверждает древнюю и беспощадную истину о том, что носители зла «волки» — люди с инстинктами хищного зверя — не так уж и страшны сами по себе, что их можно, при желании, одолеть; а что гораздо опаснее «серые зайцы» страха, «грызущие» души некоторых людей, и что «сладить» с этим иногда бывает невозможно. Стихотворение «На прогулке», хотя и несущее на себе печать безысходности, способствовало распрямлению человеческой души, ибо обличало безотчетную людскую трусость, инстинктивное желание спрятать голову под крыло.

Надо сказать, что настроения отчаяния, потерянности, одиночества были для Уткина преходящи; их заглушали жизнеутверждающие оптимистические ноты. Однако игнорировать стихотворения, рожденные в моменты приступов пессимизма, никак нельзя. Без них творчество поэта предстает приглаженным, искаженным и далеко не полным.

Естественно, что некоторые свои вещи Уткин опубликовать в то время не мог. Вдобавок с каждым годом он все строже и требовательнее относился к своей поэзии, оставляя в столе хорошие стихи о природе, любви и красоте человека. В его сборники, вышедшие в 30-е годы, вошло менее половины им написанного.

Но и та часть поэзии Уткина, которая была известна читателям и слушателям, пользовалась большой любовью и популярностью. Уткин был одним из весьма немногочисленных поэтов-лириков в годы, когда на лирическую поэзию был большой голод; значение его творчества трудно переоценить. Очень характерны слова, написанные поэту в 1937 году одним из его читателей: «Мне хотелось крикнуть всем, что есть у нас человек, который кроме героики наших будней может высоко говорить о простом человеческом чувстве...» [1] О важности, даже насущности лирики именно как жанра этического, о воспитании ею чувств человека можно судить по запискам, которые получал Уткин на своих творческих вечерах. Проблемы дружбы и любви, красоты и верности, подлинных и мнимых чувств и свойств человека — вот темы этих записок, которые поэт бережно хранил у себя... Трудно переоценить и человеческую активность поэта, выражавшуюся не в словах (с годами Уткин все реже выступал на писательских собраниях с речами), а в конкретных делах. За все Уткин брался «горячо и споро»: возглавлял ли он редакцию поэзии в Издательстве художественной литературы, работал ли в литконсультации с начинающими поэтами, выступал ли с творческими вечерами в различных городах страны (поэт очень любил такие поездки).

6

Последняя «мирная» поездка Уткина состоялась летом 1941 года. Еще в июне поэт выступал в Севастополе на встрече с редакцией газеты «Маяк коммуны», а в августе он оказался в брянских лесах — в качестве работника фронтовой газеты «На разгром врага».

Каждый день в печати появлялись стихи Уткина, исполненные гнева, ненависти к врагу и, начиная уже с первого стихотворения,

---

[1] Письмо Уткину неизвестного читателя (ЦГАЛИ).

написанного на следующий день после объявления войны («Гнев миллионов»), непоколебимой убежденности в победе. Уткин писал о подвигах наших летчиков, партизан, машинистов, о народной смекалке, о готовности каждого человека отдать свою кровь и жизнь за родную землю («Дружба соколов», «Старый партизан», «Машинист», «Народная сметка», «Народный фонд» и другие). Многие из этих стихотворений создавались уже непосредственно на фронте — в блиндажах и окопах, а потом печатались на походных типографских станках — в шалашах, в чаще брянских лесов, — там помещалась редакция газеты «На разгром врага». И всюду, как правило, поэт был на передовых позициях, не зная, что такое страх, и умея быть настоящим агитатором среди бойцов, видевших в нем своего «комиссара», служа им примером мужества и спокойствия.

В сентябре 1941 года, в бою под Ельней, Уткин был ранен осколком мины — ему оторвало четыре пальца правой руки. Это обстоятельство ни на единый день не вывело поэта из боевых рядов. Стихи свои он диктовал, даже находясь в полевом госпитале («В санбате», «Война, действительно, груба...»). Не прекращал он литературной работы и в Ташкенте, куда был отправлен на излечение. Менее чем за полугодовое пребывание Уткина в Ташкенте им были созданы две книжки фронтовой лирики — «Фронтовые стихи» и «Стихи о героях», а также альбом оборонных песен, написанных совместно с московскими композиторами.

И все это время Уткин рвался «на линию огня», беспокоя высшие военные органы настойчивыми просьбами послать его на фронт, — на первых порах безрезультатными. «Я категорически отметаю разговор насчет невозможности, по соображениям физического порядка, моего пребывания на фронте. Я хочу. Я могу», [1] — писал он в эти дни В. П. Ставскому, умоляя его помочь ему поскорее попасть на фронт. Поэт не только не «берег» «простреленную руку», а просто игнорировал свое увечье, как будто бы его не существовало.

Наконец летом 1942 года Уткин вновь оказался на Брянском фронте — в качестве специального военного корреспондента Совинформбюро, от газет «Правда» и «Известия». В брянских лесах писались Уткиным стихи о родине и ее патриотах, очерки о подвигах Красной Армии и партизан, накапливались материалы для большого «Рассказа майора Трухлёва» — точнее, повести — о любви, долге, а главное — патриотизме в самом высоком значении этого слова.

---

[1] Письмо И. Уткина В. П. Ставскому от 1942 г. (ЦГАЛИ).

Мощный подъем патриотических и героических настроений в годы Великой Отечественной войны, оплодотворивший всю советскую литературу, вызвал, в частности, бурное развитие гражданской лирики. Осенью 1943 года газета «Литература и искусство» констатировала с удовлетворением: «Никогда у нас не писали столько стихов, как в эти два года». [1]

Почти все уткинские записи военных лет посвящены единой и самой животрепещущей теме: «поэт в дни испытаний народных». Говоря о советском человеке, «который сейчас в рядах русской армии решает судьбы России заодно с судьбою ее поэзии», Уткин пишет: «Этот человек в искусстве мог любить только то, что в жизни составляло его радость. А любил он родную природу, родной язык, быт, традиции его предков». Все эти первородные, насущные понятия составляют «броню человеческой души», которую и «должно ковать наше искусство. Но с душой-то как раз у нас и было не все благополучно, — пишет Уткин, вспоминая недавние, во многом тяжелые для развития искусства годы. — Даже такие необходимые для воина-патриота понятия, как родина, верность, любовь, нация, оказались зашифрованными в словарь абстракций, а кое-кем и вовсе отрицались. Но именно этим-то и полна душа советского воина. Это-то его и волнует. У него есть родина — Россия. У него есть любовь: жена, подруга, дети, мать. У него есть любимая природа родного места. У него есть нация предков. Вот этими, в большей части этическими, проблемами и занялось советское искусство во время Отечественной войны. Это и есть новое содержание советского искусства, разделяющего душевные и физические переживания и чувства своего народа. Отсюда и лирическая окрашенность всего советского искусства во время Отечественной войны, так как лирика есть *не жанр, как у нас наивно привыкли думать, а натура художника*». [2]

Великое «испытание народное» смыло накипь литературных «фикций», абстрактно-демагогических формулировок, «установок». Во всей очевидности предстала аксиома: «Заказчик-народ сам определяет свое литературное меню»; эту мысль Уткин постоянно варьирует и развивает в записях военных лет.

В годы войны Уткин испытал большой духовный подъем, пережил как бы второе рождение. Дело было не просто в том, что поэзия Уткина чутко и мгновенно откликалась на ежедневные, совершаемые

---

[1] Е. Трощенко, Поэзия молодых. — «Литература и искусство», 1943, 11 сентября.

[2] И. Уткин, Писатель и чувства народа. — «Литература и искусство», 1943, 17 апреля.

в боях и в тылу подвиги. Дело было и не в количестве написанных поэтом стихов (менее чем за три с половиной военных года Уткин написал их больше, чем за все предвоенное семилетие). Суть и смысл «военного» творчества Уткина в том, что его поэзия поднялась до искусства, необходимого народу в самом прямом и непосредственном значении этого слова.

«Если тема войны для поэта есть не что иное, как обостренная тема народной жизни, которой он интересовался и жил до войны, качество его произведений будет высоким, — писал Уткин. — Если же тема войны входит в творчество писателя как неожиданный и не очень приятный гость, как очередная агитка, — вряд ли что доброе из этого выйдет». [1]

Для Уткина война была именно «обостренной темой народной жизни»; с этой жизнью он был неразрывно слит, — связан не только фактически, постоянно бывая на фронтах, а сроднен всей душой: «Каждый из нас, кто сумеет хотя чуть-чуть, хотя бы отдаленно передать благородную атмосферу эпохи Отечественной войны, — может считать себя удачником», [2] — писал Уткин.

Поэт дышал этой атмосферой военных лет, потому ему и удалось передать ее: трагическую и оптимистическую, героическую и будничную, полную любви к родной земле и презрения к захватчикам ее, насыщенную патриотизмом — и местью, великодушием — и беспощадностью.

«Дорогой Иосиф Павлович, — писал Уткину с фронта поэт Илья Сельвинский 9 августа 1943 года. — Вчера на передовой в одном из блиндажей я услышал гармонь и песню на Ваши слова:

Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,
В пылающий адрес войны.

Я вошел в этот блиндаж и долго слушал. Песня эта очень нравится бойцам, и музыку они подобрали сами... Я быстро уловил мелодию и пел вместе с ними. Потом в паузе рассказывал ребятам о Вас все, что знал... Слушали меня с большим интересом, а в заключение снова пели Вашу песню.

Пишу Вам об этом, так как знаю по себе, как приятно поэту знать, что стихи твои не просто оттиснуты на бумаге, а пошли в жизнь!» [3]

---

[1] И. Уткин, Знамя поэта. — «Литература и искусство», 1943, 21 августа.
[2] Там же.
[3] ЦГАЛИ.

О том, что на фронте широко «распевались» «хорошие и глубоко лирические стихи»[1] Уткина, писали поэту и бойцы действующей армии.

Лирика Уткина и в самом деле требовала музыки. В войну было создано немало песен на его стихи: «Провожала сына мать...», «Дед», «Бабы», «Я видел девочку убитую...», «Над родиной грозные тучи...», «Я видел сам...» и другие. В сущности, почти все лирические стихи Уткина военных лет можно назвать народными песнями: по самому их духу, по «классически» русскому и предельно простому строю речи, по песенному их ладу. Уткин и сам назвал многие свои вещи песнями:

Сад тенистый, нелюдимый.
Далеко ли до любимой!
А пойти — так далеко,
А обнять — так нелегко.
Нелегко, товарищ.

(*«Народная песня»*)

Тяжелое — забудется,
Хорошее — останется.
Что с родиною сбудется,
То и с народом станется,

С ее лугами, нивами,
С ее лесами-чащами.
Была б она счастливою,
А мы-то будем счастливы.

(*«Заздравная песня»*)

Для выражения своих чувств поэт находит слова, исполненные глубочайшей нежности к каждому уголку родной земли, трепета и боли за каждую уступленную врагу ее пядь... Издавна бывший наиболее созвучным сердцу поэта пейзаж русской зимы теперь стал ему особенно дорог: ведь именно с зимой (1941—1942 годов) был связан самый суровый и тяжелый период Великой Отечественной войны:

Ночь, и снег, и путь далек;
    На снегу покатом
Только тлеет уголек
    Одинокой хаты.

---

[1] Письмо И. Уткину красноармейцев Беззубова и Шестакова от 1942 г. (ЦГАЛИ).

Облака луну таят,
    Звезды светят скупо,
Сосны зимние стоят,
    Как бойцы в тулупах.

Командир усталый спит,
    Не спешит савраска,
Под полозьями скрипит
    Русской жизни сказка.

...Поглядишь по сторонам —
    Только снег да лыжни.
Но такая сказка нам
    Всей дороже жизни!

(«В дороге»)

В годы суровых испытаний в человеке пробудилось все глубинное, подлинное; его душевные качества, мысли и переживания освободились от вторичного, наносного, искусственно привнесенного. И быть может, в первую очередь коснулось это любви, — она стала верной, безграничной, бессмертной:

И доколе дубы-нелюдимы
Надо мною склонятся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля!

(«Если я не вернусь, дорогая...»)

Если восемь лет назад поэт мог поставить эпиграфом для своего лирического стихотворения слова: «Разлука уносит любовь», то теперь он, наоборот, убежден в том, что

В мягком свете грусти и разлуки
Прошлое дороже и видней

и что

За войну мы только стали ближе,
Ласковей. Прямей...

(«Лампы неуверенное пламя...»)

Но с не меньшей силой берут за сердце немногочисленные стихотворения, которые И. Сельвинский однажды назвал стихами «второго

горизонта».[1] В них не говорится о боевых подвигах, о любви к родине и к подруге, в них не произносятся клятвы мщения. Но ведь и жизнь народа во время войны не исчерпывалась боями и атаками, клятвами над могилами и письмами — с фронта и на фронт...

Вся жизнь на маленьком возке!
Плетутся медленные дроги
По нескончаемой тоске
В закат уткнувшейся дороги.

(«Беженцы»)

Когда я вижу, как убитый
Сосед мой падает в бою,
Я помню не его обиды,
Я помню про его семью.

Мне представляется невольно
Его обманчивый уют.
...Он мертв уже. Ему не больно.
А их еще... письмом убьют!

(«Из письма»)

Поэт обрел ценный дар говорить о всей безмерности боли человеческой, о «будничных», повседневных трагедиях, свершающихся незаметно и не на «переднем плане», — говорить сдержанно, скупо, строго, даже — приглушенно. То была высокая степень гуманизма, то были слова истинно народной поэзии.

Летом 1944 года вышел последний прижизненный сборник произведений Иосифа Уткина — «О родине, о дружбе, о любви», — маленькая, карманного размера, книжечка, вобравшая в себя лучшее из написанного поэтом. А 13 ноября трагически и нелепо оборвалась его жизнь. Возвращаясь с Западного фронта, Уткин погиб в авиационной катастрофе, случившейся совсем неподалеку от Москвы. Погиб на взлете творческого пути, в расцвете дарования, не дожив и до сорока двух лет.

Двадцатилетний пройденный Иосифом Уткиным путь был достаточно сложным, нелегким. Всю жизнь оставаясь неизменным в самом

---

[1] Илья Сельвинский, Поэзия Иосифа Уткина. — «Литературная газета», 1944, 2 декабря.

главном — любви к человеку, поэт оставил после себя две интересные поэмы и несколько десятков замечательных лирических стихотворений о родине, о дружбе, о любви, которые ценны и дороги сегодня не только как живая и непосредственная хроника 1923—1944 годов. Они примечательны и современны своей чистотой и гуманностью; они обладают тем качеством, о котором лучше всего будет сказать словами самого Уткина, обращенными им двадцать с лишним лет назад к поэту Аркадию Кулешову:

«Произведение подлинно художественное само по себе является источником духовного света. Появившись, оно, безусловно, несет на себе печать и современности и актуальности. Но для последующих поколений, утратив, быть может, что-то в своей актуальности, оно приобретет какой-то новый интерес, не переставая быть источником этого духовного света. Сила, степень этого, так сказать, духовного фосфоресцирования скорее всего определяется степенью одаренности писателя. Требовать от поэта, чтобы сила поэтического накала его произведения превышала законы природы, читатель не вправе. Но блюсти чистоту своего внутреннего света, света своей поэтической натуры — долг художника». [1]

Иосиф Уткин этот долг исполнил.

Анна Саакянц

---

[1] И. Уткин, Знамя поэта. — «Литература и искусство», 1943, 21 августа.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. БОГАТЫРЬ

Тихо тянет сытый конь,
Дремлет богатырь.
Дуб — на палицу, а бронь —
Сто пудовых гирь!

Спрутом в землю — борода,
Клином в небо — шлем.
На мизинец — город, два,
На ладошку — семь!

В сумке пётля да калач,
Петля для забот.
Едет тихо бородач,
Едет да поет:

«Мне путей не писано,
Мне дорог не да́но.
В небе солнце высоко,
Да — стяну арканом!

Даром ведьма хвалится —
Скверная старушка.
Дуб корявый — палица,
Раскрою макушку.
Попищит да свалится
Чертова старушка!»

Тихо тянет сытый конь,
Дремлет богатырь.
Бледной луньюо плещет бронь
В шелковую ширь;

Свистнул — старый сивка вскачь,
Лоскутом хребет,
В небо — стон, а бородач
Скачет да поет:

«Мне путей не писано,
Мне дорог не да́но.
В небе солнце высоко,
Да — стяну арканом!

Врешь, Кащей, внапрасную,
Голова упрямая,
Соколицу красную
Не упрячешь за́ морем,
А игра опасная —
Тяжела рука моя!»

И несется красный конь,
Свищет богатырь.
Алым клыком в лоскут — бронь
Выгнувшую ширь.

Всё туда, хоть без дорог,
Тёмно ли, светло,
Всё, где в каменный мешок
Солнце утекло.

В вёрсту — розмашь битюга,
Бег сильней, сильней!
Смерть — парижская Яга,
Лондонский Кащей!

<1923>

2. ДЕТЯМ УЛИЦЫ

Ужасом в сердце высечен
Желтый поволжский год.
Сколько их, сколько... тысячи! —
Улицей снятых сирот.

В грязном, дырявом рубище,
В тине вечерней мглы —
Сколько их, дня не любящих...
Эй, прокричите, углы!..

Слышите крик рыдающий, —
Мерьте отчаянья прыть!
Нам ли, судьбу уздающим,
Эту тоску забыть?

В бочке, под лодкой, под срубами —
Будут ли вновь они?
Иерихонскими трубами,
Помощи голос, звени!

Сталью налитые руки
К детским протянем рукам.
Ужас голодной муки,
Нет, позабыть не нам!

В грязном, дырявом рубище,
В тине вечерней мглы —
Сколько их, дня не любящих...
Эй, прокричите, углы!..

1923

3. ПАРТИЗАН

На стременах он тверже, пожалуй.
Ишь, как криво под валенком пол!
До Саянов,
Как раз от Урала,
На кобыле
Хромой пришел.

Вот сейчас — шестьдесят отчёкал.
Если нужно —
Не слезет сто.
Весь продрог,
Отморозил щеки,

Отморозил —
И хоть бы што!

А от пашни не больше году,
И тогда никто не ждал,
Он сказал отцу:
«За слободу
Хочь умру...» —
И коня оседлал.

И теперь, не моргнувши глазом,
Полетит даже против скал.
Он за год
Уж четыре раза
Перевязку в крови таскал...

Вот сейчас — шестьдесят отчёкал.
Если нужно —
Не слезет сто.
Весь продрог,
Отморозил щеки,
Отморозил —
И хоть бы што!

Хорошо б
Дремануть немножко!
Хорошо б
Курнуть с пути!
И двойную собачью ножку
Закосневшей рукой скрутил.

На пороге помощник гаркнул:
«В штаб. Живее! Помер! Н-ну?!»
Торопливо замял цигарку,
Неуклюже повернул.

На стременах он тверже, пожалуй.
Ишь, как криво под валенком пол!
Вкось до штаба —
Не больше квартала,
Он же черт ее сколько брел...

Командир проскрипел:
«В «Кольках»
В потребилке — пороховик.
Понимаешь?»
Смолчал. Только
Вскинул пару бровей на миг.

«Чтобы завтра же,
Нужно скоро...
А теперь, брат, давай — пожму...»
И, бледнея, левой — на ворот
Нацепил Ильича ему...

Петухи до зари кричали,
А потом замолчали вдруг.
В эту ночь мужики слыхали
Взрыв на семьдесят верст вокруг...
Он остался.
Попал с размаху
(Ночь запутала) —
На патруль.
Говорят, что его папаху
Искромсало шестнадцать пуль.

1923

4. ПИСЬМО

...Я тебя не ждала сегодня
И старалась забыть любя.
Но пришел бородатый водник
И сказал, что знает тебя.

Он такой же, как ты, лохматый,
И такие же брюки-клеш!
Рассказал, что ты был под Кронштадтом.
Жив...
Но больше домой не придешь...

Он умолк.
И мы слушали оба,
Как над крышей шумит метель.

Мне тогда показалась гробом
Колькина колыбель...

Я его поняла с полслова,
Гоша,
        Милый!..
                Молю...

        Приезжай...
        Я тебя и такого...
        И безногого...
        Я люблю!

1923

5. СЧЕТ

Брату

1

Очень ласково цепкой лапой
Приласкал нас Британский Лев.
Много будут и долго плакать
Наши матери нараспев.

    Лондон.
    Лордам,
    Обеим палатам
    Счет — мой стих.
    За моего убитого брата
    И еще миллионы таких.

Сознаюсь — довольно долго
Головами не торговал.
Но считаю —
Не меньше, чем доллар, —
Каждая
Голова.

Ну, не их, не британцев, и петь ли,
Не о них ли, сиротка мой?
Очень ловко — английские петли
Крутит добрый поручик Джой...

2

Счет второй...
Только как мы положим?
Я на счетах прикинуть хотел.
Нет, не Крым!
А Поволжье
С трехмилльонной армией тел...

Да, ужасно горды англичане,
Даже к голоду гордость есть.
А ведь крошечным Клашам, Таням
Было по пять, по шесть.

В каждой хате
(Да, в каждой хате!)
Мне печальный скрипит напев.
Я боюсь, что волос не хватит
У тебя,
Британский Лев.

Много, много чужим и близким
Ваш приезд, чужеземцы, принес.
У моей знакомой курсистки
Провалился недавно нос.

3

Я к великим британским сагибам,
Как индус, умиленьем прожжен.
О, какое большое спасибо
Можно просто сказать — ножом!

Но всегда,
Хоть и злоба точит,
Хоть и плещется мыслями желчь,
Помню я,
Помним мы —
Не рабочий
Приходил наши села жечь.

Нам обоим Восток зажженный
Неиспытанно души жжет.

И мы оба — с портовым Джоном
Исторический пишем счет.

И когда нам столетия свистнут
(Это время вот-вот!),
Мы предъявим министрам
Из наганов
Свинцовый счет.

<1924>

6. 21 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

Каждый спину и душу сгорбил,
И никто не хотел постичь.
Из Кремля прилетели скорби:
«Двадцать первого... умер... Ильич!»

И, как будто бы в сердце ранен,
Содрогаяся до основ,
Зарыдал хор рабочих окраин,
Надрывая глотки гудков.

И пошли с похоронным стоном,
И от стонов кривился рот.
Но читал я на красных знаменах,
Что Ильич никогда не умрет.

Но видал я, как стены дрожали,
Услыхавши клятвенный клич.
И, я знаю, в Колонном зале
Эту клятву слыхал Ильич.

Ну, так работу скорь,
Крепче клинок меча!
Мы на железо — скорбь,
Мы на борьбу — печаль.
Шире разлет плеча:
— Нет Ильича!

Конец января — начало февраля 1924

7. РАССКАЗ СОЛДАТА

Я люблю пережитые были
В зимний вечер близким рассказать...
Далеко, в заснеженной Сибири,
И меня ждала старуха мать.

И ходила часто до порогу
(Это знаю только я один)
Посмотреть на белую дорогу,
Не идет ли к ней бродяга-сын.

Только я другой был думой занят.
По тайге дорога шла моя.
И пришли к ней как-то партизаны
И сказали,
Что повешен я.

Вскипятила крепкий чай покорно,
Хоть и чаю пить никто не смог,
И потом надела черный
Старый бабушкин платок.

А под утро, валенки надвинув,
В час, когда желтеет мгла,
К офицерскому ушла овину —
И овин, должно быть, подожгла.

Отпевать ее не стала церковь.
Поп сказал:
«Ей не бывать в раю».
Шомполами в штабе офицерском
Запороли мать мою!..

Вот когда война пройдет маленько
И действительную отслужу,
Я в Сибирь,
В родную деревеньку,
Непременно к матери схожу.

1924

8. РАССТРЕЛ

И просто так —
Без дальних слов —
Как будто был и не́ был...
За частоколами штыков
Так тяжело смотреть на небо...

И не борись...
И не зови...
И жизнь была не сладкой...
Как в лихорадке — грузовик,
И я — как в лихорадке.

Для волка сердце — ничего.
А много ли зверюге надо?
И с полушубка моего
Солдат весь путь
Не сводит взгляда.

Могу и душу подарить —
Вон там за следующей горкой...
. . . .

«Товарищ, дай-ка закурить...»
— «Последняя махорка...»

Колдобный дуб на что велик,
А в бурелом — соломке ровня.
Как аллигатор, грузовик
Улегся у каменоломни.

И офицер спросил:
«Готов?»
Я сосчитал штыки невольно.
Зачем им дюжина штыков?
И одного вполне довольно...

Потухли, ухнув, фонари!..
Жара... Во рту прогоркло.
«Т-т-т-оварищ... дай-ка закурить».
— «Подохнешь без махорки...»

1924

9. НАЛЕТ

До курных хат — недалеко,
И кони ладно пропотели.
Буран косматым кулаком
Мотал и ёжил ели.

И брал на грудь буранный гул
Сосняк глухой и древний.
И псом испуганным в снегу
Корежилась деревня.

Полковник вырос над лукой:
«Закладывай патроны!»
И каждый скованной рукой
Тугой курок потрогал.

И застонал оконный звон!
Обезумевший вдрызг,
Всю ночь казачий конный взвод
Дырявил шкуры изб.

И никогда, как в тот восход,
Под розовевшим небом
У проруби багровый лед
Таким багровым не был...

Нагайка кинула коня.
Буран — опять напевней...
На дыбе дымного огня
Шаталася деревня...

1924

10. ПЕСНЯ О МАТЕРИ

(1914 г.)

Вошел и сказал:
«Как видишь, я цел,
Взять не сумели
Враги на прицел.

И сердце не взяли,
И сердце со мной!
И снова пришел я,
Родная, домой.
Свинцовые ночи
Не ждут впереди!»
И орден
Пылал у него на груди.
А очи — как дым!
А сердце — как дым!
Так радостно жизнь уберечь
молодым!

И больно сказала
Седая мать:
«Мой милый,
Устала я плакать и ждать.
Я знаю, как много
Страданий в бою.
Но больше боялась
За совесть твою.
Скажи:
Человеком
На фронте ты был?..»
И глухо сказал он:
«Семнадцать убил...»
И годы — как дым,
И радость — как дым,
Так горестно жизнь потерять
молодым!..

И больше никто
Говорить не мог.
И молча солдат
Ступил за порог,
А сзади, как водная
Муть глубока,
Глазами старухи
Смотрела тоска.
Он шел к горизонту,
Тоска — впереди,

И орден...
Дрожал у него на груди...

Ах, бедная мать!
Ах, добрая мать!
Кого нам любить?
Кого проклинать?

1924

11. РОДИНА

Ты не будешь любовью пройдена,
Как не будешь пройдена вширь,
Моя снежная, зябкая родина,
Старушонка седая — Сибирь!

Хоть совсем ты теперь не такая,
Времена — что по ветру дым:
Говорят, даже раньше тают
И твои голубые льды.

Не такая!
А белый и вьюжный
Мне буран завывает:
«Айда!»
Потому что совсем не хуже
Черно-бурая стала тайга;

Потому что на гиблой дороге
Еще часто, качаясь, идет
И татарин — байбак кривоногий,
И барсук остроскулый — ойрот.

Ах, старушка!
Буянный и вьюжный,
Мне буран завывает:
«Айда!»
Потому что совсем не хуже
Черно-бурая стала тайга...

А к тебе и на лучших оленях
Мне теперь не добраться к весне:
Я зимую, где мудрый Ленин
Отдыхает в полярном сне.

Только здесь не останусь долго:
Убегу я в Сибирь, — что ни будь!
Хорошо погоняться за волком,
Хорошо в зимовьé прикурнуть!

Ты не бойся — я здесь не подохну!
Мой родной криволапый медведь!
Эх, на день бы собачью дóху,
Хоть на день
Поносить,
Одеть...

<1925>

12. НА СМЕНУ

Памяти погибших коммунаров

Снимают постовых!
Дымятся волчьи ямы.
Снимают — постовых!
Глотает волчья сыть;
Как хорошо, что молоды, друзья, мы
И можем отошедших заменить.

Уроки баррикад.
Премудрости восстаний.
Большому научил артиллерийский дым!
Нас позовут,
И мы придем,
И встанем,
И, как они,
До смены простоим.

———

В дрожащей кузнице —
Огонь и трепет стали.
Велик кузнец!

Но больше тем велик,
Что если руки — бить,
Ковать устали,
К нему придет
И сменит ученик...

<1925>

13. ПОХОД

Пылает пыль.
Закат глубок.
Закат и золото
Тумана.
Звенит мой
Дымный котелок,
Позвякивает бердана.

И всё растет
Дорожный шов...
Последний дом
Смывают дали...
Я не простяся,
Так ушел.
Меня не провожали.

Любовь и дружба,
Вам пылать
И в дым побед
И в дым пожарищ!
...Не плакала
Старуха мать,
Не обнимал
Товарищ.

Рули, солдатское весло!
Я молча
Старую покинул,
Я знаю:
Старой тяжело
Смотреть

На душегуба
Сына.

Ах, мать,
И я тоской томим,
Но мне ясна
Сноровка века.
И ты, родимая,
Пойми
Закон земли
И человека.

Ну кто из нас,
Подумай, — зверь?
Мы мучаемся, убивая,
И ты, пожалуйста,
Не верь
Неумным краснобаям.

Но знаем мы:
Предел тревог
В боях,
        В смертях
                И ранах!..

. . . .

Звенит мой
Дымный котелок,
Позвякивает бердана,

А в сердце
Теплый водоем,
И я кричу соседу:
«Эй, кабардинец,
Попоем
Про матерей
И про
Победу!»

<1925>

14. БАЛЛАДА О МЕЧАХ И ХЛЕБЕ

За синим морем — корабли,
За синим морем — много неба.
И есть земля —
И нет земли,
И есть хлеба —
И нету хлеба.
В тяжелых лапах короля
Зажаты небо и земля.

За синим морем — день свежей.
Но холод жгут,
Но тушат жары
Вершины светлых этажей,
Долины солнечных бульваров.
Да горе в том, что там и тут
Одни богатые живут.

У нас — особая земля.
И всё у нас — особо как-то!
Мы раз под осень — короля
Спустили любоваться шахтой.
И к черту!
Вместе с королем
Спустили весь наследный дом.

За синим морем — короли.
Туман еще за синим морем.
И к нам приходят корабли
Учиться расправляться с горем.
Привет!
Мы рады научить
Для нужных битв мечи точить!

<1925>

15. ОКТЯБРЬ

Поля и голубая просинь...
И солнца золотая рябь;
Пускай кричат, что это осень!
Что это, черт возьми, октябрь?!

Октябрь, конечно, маем не был,
И всё же, клясться я готов,
Что видел голубое небо
И реку голубых цветов.

И тишь — особенную тишь!
И росы — крошечные росы,
Хоть рвал с посахаренных крыш
Буран серебряную россыпь.

Хоть генеральские стога
Вздымались пламенем крылатым
И от крови́, как от заката,
Алели хрупкие снега.

Хоть этот день я был без хлеба,
Да-да!.. Но клясться я готов,
Что видел голубое небо
И реку голубых цветов!

<1925>

16. КАНЦЕЛЯРИСТКА

А. Хребтовой

Где хитрых ног смиренное движенье,
Где шум и дым,
Где дым и шум, —
Она сидит печальным отраженьем
Своих высокопарных дум.

Глаза расширились, раскинулись,
И реже
Смыкается у голубых границ
Задумчивое побережье
Чуть-чуть прикрашенных ресниц.

Она глядит, она глядит в окно,
Где тает небо голубое.
И вдруг...
Зеленое сукно
Ударило морским прибоем!..

И люди видеть не могли,
Как над столом ее, по водам,
Величественно протекли
И корабли,
И небосводы.

И как менялась бирюза
В глазах глубоких и печальных,
Пока... не заглянул в глаза
Суровый и сухой начальник...

Я знаю помыслы твои
И то,
Насколько сердцу тяжко, —
Хоть прыгают, как воробьи,
По счетам черные костяшки.

Октябрь 1925

17. АТАКА

Красивые, во всем красивом,
Они несли свои тела,
И, дыбя пенистые гривы,
Кусали кони удила.
Еще заря не шла на убыль
И розов был разлив лучей,
И, как заря,
Пылали трубы,
Обняв веселых трубачей.

А впереди,
Как лебедь, тонкий,
Как лебедь, гибкий не в пример, —
На пенящемся арабчонке
Скакал безусый офицер.

И на закат,
На зыбь,
На нивы
Волна звенящая текла...

Красивые, во всем красивом,
Они несли свои тела.

А там, где даль,
Где дубы дремлют,
Стволами разложили медь
Другую любящие землю,
Иную славящие смерть...

Он не был, кажется, испуган,
И ничего он не сказал,
Когда за поворотным кругом
Увидел дым, услышал залп.
Когда, качнувшись к лапам дуба,
Окрасив золотистый кант, —
Такой на редкость белозубый —
Упал передний музыкант.

И только там, в каменоломне,
Он крикнул:
«Ма-а-арш!» —
И побледнел...
Быть может, в этот миг он вспомнил
Всех тех,
Кого забыть хотел.
И кони резко взяли с места,
И снова спутали сердца
Бравурность нежного оркестра
И взвизги хлесткого свинца...

И, как вчера,
Опять синели выси,
И звезды падали
Опять во всех концах,
И только зря
Без марок ждали писем
Старушки в крошечных чепцах.

1925

18. ВЕТЕР

Старый дом мой —
Просто рухлядь.
Всё тревожит —
Каждый писк.
Слышу, ветер в мягких туфлях
Тронул старческий карниз.

Как влюбленный, аккуратен
Милый друг!
К исходу дня,
В мягких туфлях и в халате,
Он бывает у меня.

Верен ветер дружбе давней.
Но всегда в его приход
Постоит у дряхлых ставней
И, вздыхая,
Повернет.

Я не знаю, чем он мучим,
Только вижу:
Всё смелей
Он слоняется, задумчив,
Длинной хитростью аллей.

И когда он, чуть печален,
Распахнулся на ходу,
То поспешно зашептались
Сучья с листьями в саду...

Я опутал шею шарфом,
Вышел... он уже готов!
Он настраивает арфу
Телеграфных проводов...

1925

19. ОКТЯБРЬ

Наш старый дом, что мог он ждать?
Что видел он, мой терем дивный?
Покой снегов,
Тоску дождя,
Побои бешеного ливня.

И думалося — будут дуть
Печаль и ветер бесконечно
В его березовую грудь,
В его развинченную печку.

Но этот день
Совсем иной,
Еще невиданный доныне,
Он сделал осень нам — весной
И холод сделал нам теплынью!

В сыром углу,
Сырой стеной —
Где только мыши были прежде —
Величественно предо мной
Прошли возможные надежды.

И в этот день
Больная мать
Впервые, кажется, забыла
Чужих и близких проклинать,
Чужим и нам
Просить могилы.

Наш старый дом, что мог он ждать?
Что видел он, мой терем дивный?
Покой снегов,
Тоску дождя,
Побои бешеного ливня.

В перчатках счастье — не берут.
Закрытым ртом — не пообедать.
Был путь мой строг,

Был путь мой крут,
И тяжела была победа.

Но в прошлом рытвины преград.
И слышал я,
Соседки ныне
Моей старушке говорят
Об умном и хорошем сыне.

1925

20. ЗАКАТ

Солнце — ниже,
Небо — ниже,
Розовеет дальний край.
Милый друг, присядь поближе,
Хватит хмури —
Поболтай.

В этом гвалте,
В этом шуме
Нам трудненько уберечь
Плодовитое раздумье,
Вразумительную речь.

И нередко гром пророчил
Надо мной
И над тобой,
Но испытанные очи
Нам завещаны борьбой.

И простится, что испугом
Как-то нас брала беда.
Что ж, и лучшая подруга
Ведь лукавит иногда...

Всё равно —
Закат ли розов,
Или чернь ночных одежд —
Всё равно —

Кипят березы
Побеждающих надежд!

Мы до копаной постели
Сохраним свое лицо,
Если мы с борьбой надели
Обручальное кольцо...

Солнце — ниже,
Небо — ниже,
Тих разлив второй зари.
Милый друг, — еще поближе.
К сердцу ближе.
Говори.

1925

21. ПЕСНЯ О ПЕСНЕ

Пусть другой гремит и протестует —
Каждой песне свой предел и путь.
Я хотел бы девушку простую
На раздумье мудрое толкнуть.

Пусть прочтет
И пусть закусит губы,
Девичью пушистую губу,
Пусть прочтет
И пусть она полюбит
Нашу грусть, и радость,
И борьбу.

1925

22. МОЛОДЕЖИ

Нас годы научили мудро
Смотреть в поток
До глубины,
И в наших юношеских кудрях

До срока —
Снежность седины.

Мы выросли,
Но жар не тает,
Бунтарский жар
В нас не ослаб!
Мы выросли,
Как вырастает
Идущий к пристани корабль.

1925

23. СУНГАРИЙСКИЙ ДРУГ

Тревожен век.
И мне пришлось скитаться.
И четко в памяти моей
Глаза печального китайца
В подковах сомкнутых бровей.

Мы верим тем,
Кто выверен в печалях;
Я потому его и помню так,
Что подружились мы
И повстречались
За чашей круговых атак.

Да,
Никогда нам так не породниться,
Как под единым знаменем идей!
И в ногу шли:
Китаец желтолицый
И бледнолицый иудей.

Года летят,
Как зябкие синицы,
Как снег,
Как дымное кольцо,
И мне теперь почти что снится
Его раскосое лицо.

Года летят,
Как зябкие синицы,
Как конь летит из-под плетей!..
И мне теперь,
Пожалуй, только снится
Восторг атак на родине моей...

Мой друг живет на дальнем берегу,
На дальней Сунгари —
И это неизбежно, —
Но для него я строго берегу
Мою приятельскую нежность.

Я не скажу ему:
«Сюда, мой друг, скорей!»
Я не скажу,
Прекрасно понимая,
Что родину и матерей
Никто и никогда не забывает!

Но если крикнут боевые птицы
У сунгарийских грустных пустырей,
Сомкнутся вновь —
Китаец желтолицый
И бледнолицый иудей.

1925

24. ГОСТЕПРИИМСТВО

Мы любим дом,
Где любят нас.
Пускай он сыр, пускай он душен.
Но лишь бы теплое радушье
Цвело в окне хозяйских глаз.

И по любой мудреной карте
Мы этот странный дом найдем —
Где длинный чай,

Где робкий фартук,
Где равно — в декабре и в марте —
Встречают
Солнечным лицом!

1925

25. ПАМЯТИ ЗАМУЧЕННЫХ

Наш путь крестами обозначен.
Но крепок дуб от старческих морщин!
Закал борьбы: теряя, мы не плачем,
И, проклиная, мы молчим.

В нас многое захолодила снежность,
Но, чуждая никчемных слов,
И в нас есть дружеская нежность
И комсомольская любовь.

И если так, то в черный день утраты,
Как самым-самым дорогим,
Мы вам, товарищи... ребяты,
Любовь и нежность отдадим!

Всему есть срок... сорвется голос ровный,
В шеренге дней и дни расплаты есть:
Мы не откроем рта, но будут многословны
Огонь и сталь, наган и месть!

Первая половина 20-х годов (?)

26. МУДРОСТЬ

Когда утрачивают пышность кудри
И срок придет вздохнуть наедине,
В неторопливой тишине
К нам медленно подходит мудрость.

Издалека. Спокойствием блистая
(Будильник скуп! Будильник слаб!),
Как к пристани направленный корабль,
Она величественно вырастает...

Но вот пришла. И многое — на убыль:
Непостоянство, ветреность, порыв. . .
И перламутровый разлив
Уж редко открывает губы.

И пусть потом нам девушка приснится,
Пусть женщина перерезает путь, —
Мы поглядим не на тугую грудь,
Мы строго взглянем под ресницы.

И пусть — война. Воинственным азартом
Не вспыхнем, нет, и сабли не возьмем.
Есть умный штаб. Есть штаб, и в нем
Мы прокорпим над паутиной карты.

И ждем побед,
Но в том же мерном круге
(Победы ждем без ревностей глухих)
Не как лукавую любовницу — жених,
Как муж — степенную и верную супругу.

1925

27. СВИДАНИЕ

И ночь эта
Будет богатой,
И я
Улыбнуться не прочь —
Уж бронзовый якорь заката
Бросает московская ночь.

Мне ветер
Приятельски машет,
И, путаясь и пыля,
Как зелием полные чаши,
Шипят
И кипят
Тополя.

Привет,
Замечательный вечер!

Прощай,
Мой печальный порог!
Я вышел.
А ветер — навстречу
И лег по-собачьи у ног...

Когда — собеседник небрежный —
К нам радость заглянет на миг,
Мы лучшие мысли и нежность
Сливаем в девический лик.
И в этот закат не случайно
Мне машут радушным крылом
Медлительная окрайна
И мирный садовничий дом.

О молодость,
Где бы я ни был,
О юность,
Зимой и весной
Со мною —
Бубновое небо,
И плотская нежность —
Со мной!

Сквозь смуту житейских вопросов,
Сквозь пышные годы мои
Прошли ароматные косы,
Как две золотые струи.

И может быть, в годы железа
И я быть железным сумел,
Чтоб в лад боевой марсельезы
Мне девичий голос гремел.

Как рад я,
Что к мирным равнинам
Так выдержанно пронес
И мужество гражданина,
И лирику женских волос...

Над крышей садовника — дрема,
И дремлет садовник давно,
Сугробы пахучих черемух
Совсем завалили окно.

Я скромностью не обижен
И, встав на чужое крыльцо,
За снегом черемухи
Вижу
Смеющееся лицо.

Но чуток холера-садовник,
Хоть видно и без труда,
Как дышит и мирно и ровно
Седая его борода...

Пусть молодость — нараспашку,
Но даже и молодость — ждет.
Я жду.
По знакомству дворняжка
Меня в ожиданьи займет.

Я жду и теперь, как когда-то.
Но только прошу:
«Не про-срочь!
Ты видишь —
Уж якорь заката
Бросает московская ночь».

Июнь 1926

28. НОЧНОЙ РУЧЕЙ

Вот он!
Слушайте и пейте.
Вот он!
Чей-то и ничей.
Как серебряная флейта,
Лег в песчанике ручей.

Он течет
            и балагурит.
А на нем,
            ясна, чиста,
Золотой клавиатурой
Отразилась высота.

Я застыл благоговейно,
Очарован высотой,
Надо мною
            муравейник,
Муравейник золотой!

Вот где чаянья сбылися:
Ничего у пыльных ног,
Только рюмки кипарисов
Узкой скатертью дорог.

И еще,
Под шалью яркой,
Да еще,
В тиши и тьме,
Чернобровая татарка,
Синеглазая Этьме.

Счастлив я
И беззаботен!
Но и счастье
И покой
Я, ей-богу, заработал
Этой раненой рукой.

Да,
Я прожил не играя,
Всё я знал:
И плоть и кровь.
Спой же песню, дорогая,
Про счастливую любовь!

Хлынет синяя улыбка,
Захлестнет веселый рот,

И серебряная рыбка
Между губ ее мелькнет.

Мне бы надо осторожней,
Я запутался, ей-ей,
В этом черном бездорожье
Удивительных бровей.

Эти
    чертовские веки...
Этот
    чертов синий цвет!
Но в каком, скажите, веке
Был рассудочным поэт?

Ноябрь 1926

29. СЛОВО ЕСЕНИНУ

...У людей, которым не по душе кипенье и цветенье отчизны, которые сами себя признают негодными для того, чтобы жить и работать, нельзя отнимать права умереть...

М. Горький

Красивым, синеглазым
Не просто умирать.
. . . .
Он пел, любил проказы,
Стихи, село и мать...

Нам всем дана отчизна
И право жить и петь,
И кроме права жизни —
И право умереть.

Но отданные силой
Нагану и петле, —
Храним мы верность милой,
Оставленной земле.

Я видел, как в атаках
Глотали под конец
Бесстрашные вояки
Трагический свинец.

Они ли не рубили
Бездарную судьбу?
Они ли не любили
И землю,
И борьбу?

Когда бросают женщин,
Лукавых, но родных,
То любят их не меньше
И уходя от них.

Есть ужас бездорожья,
И в нем — конец коню!
И я тебя, Сережа,
Ни капли не виню.

Бунтующий и шалый,
Ты выкипел до дна.
Кому нужны бокалы,
Бокалы без вина?..

Кипит, цветет отчизна,
Но ты не можешь петь!
А кроме права жизни,
Есть право умереть.

1926

30. КУРГАН

Ты не мучь напрасно взора,
Не придет он,
Так же
вот,
Как на зимние озера
Летний лебедь не придет.

Не придет к тебе он больше,
Нежной молодостью пьян, —
У границ шляхетской Польши
Поднял грудь седой курган...

Ничего ему не снится,
И ничем он не томим:
Сыплют хвойные ресницы
Сосны желтые над ним.

Но, идя
Вторым походом,
Обещаю, слышишь, мать,
Самым нежным,
Красным всходом
Холм заброшенный убрать!

А пока...
Не мучай взора,
Не придет он...
Так же
          вот,
Как на зимние озера
Летний лебедь не придет.

1926

81. СТИХИ О ДРУЖБЕ

Я думаю чаще и чаще,
Что нет ничего без границ,
Что скроет усатая чаща
Улыбки приятельских лиц,

Расчетливость сменит беспечность,
И вместо тоски о былом
Мы, встретясь,
Былую сердечность
Мальчишеством назовем.

Быть может,
Рассудочной стужей
Не тронем безусых путей.

Быть может,
Мы будем не хуже,
И все-таки будем не те...

Вот девушку любим и нежим,
А станет жена или мать —
Мы будем всё реже и реже
Любимой ее называть...

1926

32. СТИХИ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ

Приподнимет
Гордо морду,
Гордо стянет
Профиль птичий...
Сколько стоит
Ваша гордость?
Цену — вашему величью?..

Так идет.
Ей очень грустно
(От утрат, видать, печали!).
Не твоим ли пышным
Бюстом
Перекоп мы защищали?..

Счастлив я,
Что этим годам
Отдал всё —
И смех,
И грусть,
И с любимым небосводом
Преждевременно прощусь..

Это — капли,
Это — крохи,
Если взять наш век премудрый.
Что же дали вы эпохе,
Живописная лахудра?

Разве — это
Ищут люди?
Разве — это
Людям надо?
То кокетничает
Грудью,
То кокетничает
Задом.

Если вам уж неизвестно,
Разрешите, я замечу,
Что совсем в другое место
Спрятан разум человечий...

Опадет черемух снежность,
Опадет и вновь родится.
К нам же молодость и нежность
Никогда не возвратится.

К нам всегда приходит мудрость
Через белые равнины.
Опадут,
Отпляшут кудри,
Зацветут седины.

И как в бешеном стакане,
Память вздрогнет
И запляшет...
Чем же вас тогда поманит
Дорогая прошлость ваша?..

Я не знаю лучше участь,
Голубей не вижу свода:
Умереть, борясь и мучась,
Умереть в такие годы.

И меня в суровой ломке
Лишь одно страшит немало:
Как бы гордой незнакомкой
Жизнь меня не миновала.

Всё! —
И нежность песнопенья —
Всё! —
И даже нежность тела —
Для железного цветенья,
Для единственного дела...

А тебе, как влага туче,
Красота дана природой.
На костер ее!
Чтоб лучше
Освещалася свобода.

Женской нежностью томима,
Не богатых,
Не красивых —
Назови твоим любимым
Воина трудолюбивых!

Не поймешь —
И будет худо.
Жизнь идет, а годы скачут,
И смотри — тебя забудут,
Как красивую собачку...

1926

33. ГИТАРА

А. Жарову

Не этой песней старой
Растоптанного дня,
Интимная гитара,
Ты трогаешь меня.

В смертельные покосы
Я нежил, строг и юн,

Серебряную косу
Волнующихся струн.

Сквозь боевые бури
Пронес я за собой
И женскую фигуру
Гитары дорогой!

Всегда смотрю с любовью
И с нежностью всегда
На политые кровью,
На бранные года.

Мне за былую муку
Покой теперь хорош.
(Простреленную руку
Сильнее бережешь!)

...Над степью плодоносной
Закат всегда богат,
И бронзовые сосны
Пылают на закат...

Ни сена! И ни хлеба!
И фляги все — до дон!
Под изумрудным небом
Томится эскадрон...

...Что пуля? Пуля — дура.
А пуле смерть — сестра.
И сотник белокурый
Склонился у костра.

И вот, что самый юный
(Ему на песню — дар!),
Берет за грудь певунью
Безусый комиссар.

И в грустном эскадроне,
Как от зеленых рек,
Повыпрямились кони
И вырос человек!

...Короткие кварталы —
Летучие года!
И многого не стало,
Простилось навсегда.

Теперь веселым скопом
Не спеть нам, дорогой.
Одни —
Под Перекопом,
Другие —
Под Ургой.

Но стань я самым старым, —
Взглянув через плечо,
Военную гитару
Я вспомню горячо.

Сейчас она забыта,
Она ушла в века
От конского копыта,
От шашки казака.

Но если вновь, бушуя,
Придет пора зари, —
Любимая,
Прошу я —
Гитару подари!

1926

34. ДЕВУШКЕ

Ни глупой радости,
Ни грусти многодумной,
И песням ласковым,
Хорошая, не верь.

И в тихой старости,
И в молодости шумной
Всегда всего сильней
Нетерпеливый зверь.

Я признаюсь...
От совести не скрыться:
Сомненьям брошенный,
Как раненый, верчусь.
Я признаюсь:
В нас больше любопытства,
Чем настоящих и хороших чувств.

И песни пел,
И в пламенные чащи
Всегда душевное носил в груди!
И быть хотел —
Простым и настоящим,
Какие будут
Только впереди.

Да, впереди...
Теперь я между теми,
Которые живут и любят
Без труда.
Должно быть, это — век,
Должно быть, это время —
Жестокие и нужные года!

1926

35. ПЕСНЯ РЫБАКА

В тополях пылает осень...
И ко мне издалека
Ветер тянет
И доносит
Песню рыбака.

Ты поешь, рыбак, понурясь.
Чем уж плакать,
Лучше петь —
Про безжалостные бури,
Про ограбленную сеть...

На Ай-Петри,
Ветром схвачен,
Снег ложится серебрясь.

Эти песни,
Не иначе,
Только песни сентября.

А весной
Взойдут баштаны,
И, по-прежнему любя,
Загорелая Татьяна
Снова выйдет
До тебя.

Снова будут неизменны —
Только время побороть —
И серебряная пена,
И сатиновая водь.

И опять
Ты будешь весел
И восторженно опять
Распахнешь объятья весел
На сверкающую гладь.

В тополях пылает осень. . .
И ко мне издалека
Ветер тянет
И доносит
Песню рыбака.

1926

36. УГЛЕКОП

Хорошо в груди носить надежды,
Если дома —
И огонь и хлеб.
Пуст мой сад,
И дом мой пуст, как прежде.
Слеп мой сад,
И дом мой слеп.

Мне давно, как радость, неизвестен
Аромат покоя и вина,

Не поет с весны веселых песен
Утомленная жена.

Да, в такой ли траурной одежде —
Песни петь,
Плясать ту-степ?!
Хорошо в груди носить надежды,
Если дома —
И огонь и хлеб...

На Восток покоем многоводья
Ветер водит дымные суда...
Нет, не ветер!
Это уголь водит,
Это воля —
Моего труда.

О, страна величия и торга!
Чтоб и нам плоды твои постичь,
Хорошо бы пятому Георгу
С бородой
И голову остричь!

Нам давно, как радость, неизвестен
Аромат покоя и вина.
Не поет с весны веселых песен
Утомленная жена.

Но тогда припомнили б мы снова
Старой песни мудрые слова.
Время ждет.
Но будь готова,
Коронованная голова!

1926

37. ДВАДЦАТЫЙ

Через
Речную спину,
Через
Лучистый плес

Чугунной паутиной
Повис тяжелый мост.

По краю —
Тишь да ивы,
Для отдыха — добро!
А низом — прихотливо
Речное серебро.

На тишь,
На побережье
Качает паровик...
«Я, милая, приезжий,
Я в отпуск,
Фронтовик...»

Сады родные машут!
Здесь молодость текла,
И золотые чаши
Подняли купола.

Привет вам, отчьи веси!
С победой
И весной!..
Но что-то ты невесел,
Мой город дорогой?

Дома тихи
И строги.
И не слыхать ребят,
И куры на дороге,
Как прежде, не пылят.

И яблони бескровны,
И тяжелы шаги,
И на соседских бревнах
Служивый... без ноги.

Да, ничего на свете
Так, запросто, не взять, —
Когда родятся дети,
Исходит кровью мать!

Но вот
И наши сени.
Но вот
И милый кров,
Где первые
Сомненья,
Где первая любовь.

И в этом
Всё, как прежде, —
И сад,
И тишь,
И крик:
«Я, бабушка,
Приезжий,
Я в отпуск,
Фронтовик».

И, взгляд подслепый бросив,
Старуха обмерла:
«Иосиф. Ах, Иосиф!
Я так тебя
Ждала!»

И я в объятьях стыну...
«Иосиф, это ты?!»

. . . .

Чугунной паутиной
Качаются мосты.

И мчатся эшелоны
Солдат,
Солдат,
Солдат!
Тифозные перроны
Под сапогом хрустят.
По бедрам
Бьются фляги.
Ремень, наган — правей.

И синие овраги
Под зарослью бровей.

В брони,
В крови,
В заплатах —
Вперед,
Вперед,
Вперед! —
Страдал и шел
Двадцатый,
Неповторимый год!!!

<1927>

88. БАРАБАНЩИК

Е. Зозуле

Шел с улыбкой белозубой
Барабанщик молодой...

Пляшут кони,
Льются трубы
Светлой медною водой.

В такт коням,
Вздувая вены,
Трубачи гремят кадриль,
И ложатся хлопья пены
На порхающую пыль.

Целый день идут солдаты.
Грязь и молодость в лице.
И смеется в ус хвостатый
Ресторатор на крыльце...

Всех их бой перекалечит.
И тогда
Тоска и страх

Высоко поднимут плечи
На костлявых костылях.
«Братья, —
Нежности... и пищи!
Нежность, счастья... и воды...»
И пройдут в лохмотьях хищных
Исступленные ряды.

И опять с лицом паяца,
С той же сытостью в лице,
Будет в ус себе смеяться
Ресторатор на крыльце...

Барабанщик,
Где же кудри?
Где же песня и кадриль?

К Эрзеруму
Скачут курды,
Пляшут кони,
Дышит пыль...

<1927>

39. СИНИЦА

Мне всегда зимою снится —
Этот сон я берегу —
Серебристая синица
Звонко плачет на снегу.
А подвыпивший прохожий
Метит камнем в певчий цвет.
Правда? как это похоже
На твою судьбу, поэт!..
В мае нежность постучится,
Грея крыши, плавя снег,
И влюбился под синицу
Тот же самый человек!
В день, когда борьба воскреснет,
Он согреет гнев и пыл
Боевой, походной песней —
Той, что я ему сложил!..

Ты, поэт, борьбой измучен?
Брось,
Борьба во всем права!
Гнев и нежность нас научат
Уважать твои слова...

<1927>

40. ПЕСНЯ

На Карпатах,
На Карпатах,
Под австрийский
Свист и вой,
Потерял казак папаху
Вместе с русой головой.

Задремавший подорожьем
Ветер дрогнул,
И с полей
Он пошел зеленой дрожью
По букетам тополей.

Он подался до Кубани,
День ли,
Два ли протекло —
Он добрался до Кубани,
Свистнул в желтое стекло.

В хате девка молодая,
Позабыв про хоровод,
На бубнового
гадает,
На червового кладет.

Или девке это снится?
Вышла девка —
Ни души.
Тишь,
И лунные лисицы
Шнырят по двору в тиши.

И смекнула молодая:
Этот посвист
Не к добру,
И стоит она, рыдает
На порхающем ветру...

...И гремим,
И протестуем,
И терзаем
Мы любя.
Эту песенку простую
Написал я
Для тебя.

В ней, наивной
И напевной,
Много доброго тепла.
Чтобы более душевной
Ты, любимая, была.

Нам,
Прошедшим зной и снежность,
Нам,
Вдыхавшим пыль и дым, —
Нам нужны
Друзья и нежность
Много больше, чем другим.

1927

41. ВОЛОСЫ

Н. А. Гнуни

Молчи, скрывайся и таи.

Тютчев

По кухне и счастье усвоено...
Я нежен,
А щеточник — тих:
Он волосы
понял по-своему,

Он делает
Щетки из них.
А мне они —
целью и знаменем.
Я знаменем сделать
готов
И волосы
черного пламени,
И пламя
гражданских трудов!..

Теперь я
почувствовал это.
Теперь я
прекрасно пойму.
Зимою —
мерещится лето,
А летом —
лелеешь зиму...
Я предал военную
молодость
Смиренью высоких забот,
И видишь,
крылатые волосы
Жемчужная изморозь жжет...
Всё к лучшему,
к лучшему,
к лучшему.
И осень,
и проседь забот.
Так яблоня
голыми сучьями
Плоды налитые несет.
Всё к лучшему,
к лучшему,
к лучшему.
Но в двадцать четыре мои,

Подумай!
Совсем — как по Тютчеву —
Скрывайся...
Молчи...
И таи...

Бубновое небо,
бубновое.
Но звезд
не достать и с горы.
Идеи-то, видишь ли,
новые,
Да люди
уж очень
стары.
Но трогай!
Но трогай!
Но трогай!
Качай, бесколесая жизнь!
И если лежать...
У порога —
Конем запаленным
Ложись!

Ах, милая,
милая,
милая,
Мы камень еще подожжем
Моей поэтической силою
И черным
атласным огнем!

Так пусть мне —
И целью
и знаменем,
Я знаменем
сделать готов

И волосы
черного пламени,
И пламя
гражданских трудов!..

...А ты,
мой соседушка
скромненький,
Ты руки
труди и труди,
От щетки —
приветливей в комнате,
От песни —
светлей на груди.

1927

42. ПЕСНЯ БОДРОСТИ

Други,
Это не годится!
Чуть волна на горизонте —
Вы сейчас
На квинту лица,
Весла к черту
И — за зонтик.

Пусть волна
Поднимет лапу,
Пусть волна
По веслам стукнет —
Не смеяться и не плакать, —
Песню,
Мужество
И руки!..

Кормит жизнь
Мудреной смесью,
Пробуй всё, ценитель тонкий:
Не всегда медовый месяц,
Есть и прачка и
Пеленки.

Так чего же горячиться,
Если горечи подлито?
Пробуй,
Пробуй —
От горчицы
К мясу больше аппетита.

На Босфор склонились птицы,
И не смотрит тополь хмуро —
Тополь по́ осень
Гордится
Золотистой шевелюрой.

Чем же наша участь плоше?
Ах, и в будущем
И в прошлом
Столько девушек хороших
В нашем городе хорошем!..

Весел я,
Но глупо думать —
Мол, поэт в веселом рвенье
Вовсе выкинул из трюма
Грусть
И мудрое сомненье.

Никогда с одной улыбкой
Человек не станет нашим.
Хорошо,
Что плачет скрипка,
Хо-ро-шо,
Что парень пляшет.

Только нам
Ложиться рано
(Не родился и не помер) —
Уйма блох
И тараканов
В нашем строящемся доме.

Значит —
Рано ставить точку.

Это будет,
Это после.
Ну-ка, братцы,
Ки-пя-точ-ку!
Ну-ка, милые,
За весла!

Пусть волна
Поднимет лапу,
Пусть волна
По веслам стукнет —
Не смеяться и не плакать, —
Песню!
Мужество!
И руки!..

1927

43. ВЕСНА — ЛЕТО

Оптимистические строфы

Как сажа свеж,
Как сажа чист,
Черт-трубочист качает трубы.
Вдруг солнце — трах!
И трубочист
Снегам показывает зубы.

И сразу — вниз,
И сразу — врозь
Труба, глаза и ноги,
И воробьев счастливых горсть
Метнулась по дороге.

Взглянул вокруг,
И — мать честна! —
И городу и парку,
Загнув рукавчики, весна
Закатывает парку.

Под песню трудится кума —
Счастливая натура!

И сводит каждого с ума
Весенняя колоратура.

И вот —
Отчаянный пример:
Подснежники у постового?!
— Товарищ милиционер,
Вы — девушка,
Даю вам слово!

И вот,
Любезные мои,
Извольте, — как по нотам,
В такт дискантуют воробьи
Над золотым пометом.

Ах, понимаю,
Как не петь?
Не петь или не пикать? —
Когда графин
Горит, как медь,
Когда ручьи —
Как никель.

Когда вот так
Поет весна:
Без темпа
И без метра,
И дирижирует сосна
И лирикам
И ветрам.

Я это пел,
Когда апрель
Дымился на бульварах,
Когда жемчужная капель
Клевала тротуары.

Когда, тетрадь
Скрутив в комок
И трижды кроя матом, —
Хотел влюбиться



И не смог
Рабфаковец косматый.

Теперь под солнечным огнем
И радостно, и тяжко!
Давайте окна распахнем,
Как душную рубашку.

И на ребяческую прыть
Равняясь по поэту,
Чтоб даже деньги позабыть...
Которых, кстати, нету.

<1928>

44. СОМНЕНЬЕ

Ты прости, что, временем пустая,
Жизнь моя
Варначества полна:
Это я
За молодость хватаюсь,
Как за берег —
Глупая волна...

Трудная и голубая
Мне страна мерещится во мгле...
Надо жить,
Трудясь и рассыпая
Жемчуг смеха
По большой земле.

Чтоб в зубах кинжальной белой стали
Заливались хищные лучи,
Чтоб на яблонях,
Качаясь, хохотали
Черные
Глазастые грачи.

Чтобы сразу
Таяла усталость,
Становилось сразу веселей,

Если вдруг
Подруга засмеялась
Над охапкой снеговых лилей.

И когда мечтательный соратник
Опускает голову порой,
Я в глаза ему:
«Красавец, голубятню,
Голубятню синюю открой».

Мир хорош
Солеными руками...
Не беда, что мужеству челна
Африканскими белками
Угрожает
Черная
Волна.

Трудная и голубая,
Посмотри,
Страна плывет во мгле...
Надо жить
Трудясь и рассыпая
Жемчуг смеха
По большой земле.

Смейся, милый,
Умоляю, смейся,
Ни к чему трагическая тишь.
Говорят,
                    что никаким злодейством
Старый мир не удивишь.

И без нас зажгут огни акаций,
И без нас весной
Пройдет вода...
В чем угодно —
                              буду сомневаться.
В революции,
                         товарищ, —
                                          никогда.

Июнь 1928

45. ЗИМА

Средь седых
И старящих,
Сводящих с ума,
И моя,
Товарищи,
Тащится зима.

Постучится палочкой,
Сядет у стола:
«Ну-с, Иосиф Павлович,
Вот и я
Пришла...»

Я склонюсь,
Задумавшись,
А вокруг, звеня,
Девушки
И юноши
Окружат меня.

Не кряхтя,
Не ахая,
Не зная забот,
А играя сахаром
Молодых зубов!..

Но, шапчонку комкая,
Старый гражданин,
Я перед потомками
Не склоню седин.

Бьет
В кремлевском знамени
Алая струя.
Это — кровь!
И в пламени
Капля есть
Моя...

Средь седых
И старящих,
Сводящих с ума,
И моя,
Товарищи,
Тащится зима.

Постучится палочкой,
Сядет у стола:
«Ну-с, Иосиф Павлович,
Вот и я
Пришла».

1928

46. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Нет, что-то есть такое выше
Разлук
И холода в руке!
Вы снились мне,
И вас я слышал
На лазаретном тюфяке.

И это вас,
Когда потухло,
Я у груди пронес назад,
Как девочка больную куклу,
Как руку
Раненый солдат...

Вы на далеком повороте,
Ни враг,
Ни друг
И не родня...
Но нет,
Но нет, вы не уйдете...
Вы не уйдете
От меня!

Нет,
Даже предаваясь плоти
С другим —

Вы слышите: с другим! —
Вы нежность вашу
Назовете
Библейским именем моим.

И это выше,
Выше, выше
Разлук
И холода в руке!
Вы снились мне...
И вас я слышал
На лазаретном тюфяке.

Мне и теперь
Былое, право,
Переболеть не удалось.
И надо мною
Ваша слава
Густых
Тропических волос.

И я,
Как в милом сновиденье,
Всё принимаю, без границ,
Всё...
Даже узкое презренье
Полуприщуренных ресниц.

1928

47. НЕБО И ГЛАЗА

Вот удивительное дело!
Синело только что,
И вмиг
Оно как будто бы надело
Екатерининский парик?!

Я думал, это прояснится.
А ветер нес...
                    и нес...
                              и нес...

И вот
Дождем сверкнули спицы
Никелированных колес.

Гроза кипела, как на фронте.
Но визг...
Но лопотня ребят...
И все четыре горизонта
Глазами синими глядят!

...Я о тебе
Продумал годы
И, увидавши, ахнул:
— Ах!
Какая чудная погода
В твоих
Синеющих глазах?!

1928

48. ВСТУПЛЕНИЕ

Вспомним,
как жили,
грошей не копя,
Платы
не зная,
в карманах
не шаря...
Жизнь
по душам,
за душой —
ни копья,
Кроме
земного шара.
Кроме одной
дорогой
стороны
С песней
до звездных
вышек!

Чем мы
богаты?
Тем, что —
стройны.
Счастливы?
Тем, что
дышим.
Тем, что —
по бабушке
не родня —
Мы
побратались
до гроба.
Я —
за тебя,
ты —
за меня.
И за Республику
оба...
Что же ты
песню
на хитрую
речь
Стал перестраивать,
сверстник?
Надо,
товарищ,
любить
и беречь
Наши
военные
песни.
Надо беречь —
чтобы пела
и жглась
И никогда
не скользила
По голубой
гололедице глаз
Наша
гражданская
сила.

Чтобы
и в песнях
любимой страны
Брали
всё выше
и выше!
Чем мы
богаты?
Да тем, что —
стройны,
Тем, что
живем
и дышим.
Тем, что —
по бабушке
не родня —
Мы
побратались
до гроба.
Я —
за тебя,
ты —
за меня.
И за Республику
оба!

<1929>

49. ПЕСНЯ

По-над сопкой вьется ворон,
Коршуном глядит.
По границе ходит ворон,
Генерал-бандит.

Или восемь или десять
Лет тому назад
Мы видали за Одессой
Этот самый зад.

Белый новенький кораблик
  В волнах баловал.
Не срубили наши сабли
  Черноморский вал!

Наши руки не ослабли
  К саблям и — капут.
А союзники кораблик
  Вам не отдадут.

А поднимут наши руки
  Донбасс и Урал.
— Берегите ваши брюки,
  Храбрый генерал!

Ноябрь 1929

50. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ХУДОЖНИК И ТЕМА

В дырявых носках
Просыпалась Москва.
Глаза протирал рассвет.
С женой пошутив,
Дитю приласкав,
Встает за соседом — сосед.

Выходят соседи.
Просты, легки.
Завод их, как дом, зовет.
Как матери,
За руки взяв их, — гудки
Ведут за собой
На завод.

И в черном трико
Балансирует дым
Над трубами,
Над трудом.

И смотрит поэт
И завидует им,
Как нищий, зашедший в дом...

Что может быть хуже,
Ненужней, глупей
Вот этой свободы — вот?
Вот этой свободы,
Вот этих цепей
Интеллигентских свобод.

В комнате тихо,
Совсем светло.
И резче глядит предмет.
На старом столе
Его стило́ —
Оружие. Инструмент.

Он будет работать.
Он схватит ножны
И на́голо острие.
Но он рассуждает:
Кому нужны
И песни,
И дело твое...

«Посмотрим на мир,
Отбросив на миг
Профессиональную грусть», —

И бросил поэт.
И смотрит на мир,
И видит его
Наизусть.

Он видит — соседи:
Все как один
Они ударяют в бак.
И по́том здоровья
Облил сатин
Мускулатуру рубах.

Он видит соседа:
Один на один,
Он кроет чудовищный бак.
И пóтом здоровья
Облил сатин
Рубаху его — из рубах.

...Он выгонит тонны
Потóв и сал.
А ты ему
Вместо тонн
О стонах напишешь...
Но Шелли писал
Неплохо
Про этот стон.

Ты спустишься с мамой
В Донбасс,
На Урал...
А классики что —
Не в счет?
На эту
На маму
В карты играл
Товарищ Некрасов еще.

Так думает он
И кладет в ножны
Ненужное острие.
Кладет, повторяя:
«Ему не нужны
Ни песни,
Ни дело твое».

И он опустился —
Стар и сутул —
И синий совсем у виска.
И против него
Опустилась на стул,
Как следователь, —
Тоска.

И оба сидели
На квинту нос,
Без радикальных мер.
И восемь часов
Пунктиром занес
Мозеровский секундомер...

В трубу провалился,
Крутясь, акробат,
Как дым, не оставив след.
И к дому прорвался
Через Арбат
Мой честный,
Простой сосед.

Он мылся,
Его целовала жена,
К нему забегали друзья.
И я заподозрил:
А не она,
Не тема ли это моя?

Не тут ли, направо,
Среди этих стен,
Среди незабудок
И блох —
Герой из героев,
Тема из тем,
Эпоха из всех эпох?

Поэт допытался:
Он в жизнь проник,
На жизнь взглянув
В упор.
А голос сомненья,
Подняв воротник,
Пропал в подворотне,
Как вор.

1929

51. ПРОБЛЕМА ХЛЕБОПШЕНА

Потушена лампа.
Свеча зажжена.
И плачет дитё,
И скулит жена:
«На рынке нет пшена».

Я утром встаю.
И опять жена
Одной катастрофой поражена:
«На рынке нет пшена».

Тогда на меня
Из трех углов
Нисходит триада голов.
Мундиром сияя,
Крестом звеня,
Империя прет
На меня.

Сначала
Я чувствую
Адскую боль —
Мне Чичиков
Жмет мозоль.

Потом,
Гомерически скаля зуб,
Спешивается Скалозуб.
И третьим:
Столыпинская труба
Расхваливает отруба,

И трое согнулись:
«У нас
Для вас
Стоит православный квас».
И трое смеются:
«Жена?
Извольте мешок пшена».

Тогда я, срываясь,
Ору в упор:
«Жена, до каких это пор?
Когда это кончится, жена,
Проблема хлебопшена?
Ты думаешь, что же, —
Я позабыл,
Кем Чичиков этот был?
И как это
Нижнему чину
В зуб
Въезжал полковой Скалозуб?
А кем
Этот самый
Столыпин был,
Ты думаешь,
Я позабыл?

Не будет Республика —
Это чушь —
Республикой мертвых душ!
И к пуле Багрова [1]
В моей стране
Прибавить нечего мне.
Страна не поднимет
Трехцветный позор!» —
Кричу я жене
В упор.

Мы хлопаем дверью.
Разрешена
Проблема хлебопшена.

...Товарищи, дома
У всех жена,
И каждому
С нею жить.

[1] Убийца Столыпина.

И каждому надо
Проблему пшена,
Товарищи, разрешить.

Давайте же скажем жене и стране:
«Домашности — в стороне.
Пшеном мы питаем
Плавильную печь.
И если не хватит пшена,
Мы сами готовы
Горючим лечь
В плавильную печь, жена!
А личность, домашности —
В стороне», —
Давайте скажем стране.

1929

52. СОЦИОЛОГИЯ ПОГОДЫ

Гроза кипела
И текла.
И с пунктуальностью
Капели
На светлом голосе
Стекла
Дробинки, вскакивая,
Пели.

И, заворачивая
За
Особняки и
Мезонины,
Вооруженная гроза
Расстраивала гражданина.

И граждане
Хвалили зонт,
Галоши, сумочки,
Пижамы. . .
. . . .

Я шел.
Московский горизонт
Вовсю
Жонглировал ножами.

И у Пречистенских ворот,
Как любопытный,
Из-за стула,
Ко мне
В газетный разворот
Гроза развязно
Заглянула.

И пальцем мокрым
Провела
Черту, ребячески косую.
«Ага, китайские дела
И вас, мадам,
Интересуют».

И тут,
Без дождевых забот,
Я ноги циркулем
Раздвинул,
Все тридцать клавишей зубов
Показывая гражданину.

Но обывателю
Почти
Что флюс,
Что ливень —
Всё едино.
И с молнией его очки
Ведут курьезный
Поединок.

Чудно́ смотреть,
Как на ходу
Беснуется
Сердитый галстук.

Еще в семнадцатом году
Он в громах
Разочаровался.

А мы —
Без дождевых забот —
Стоим над русским
Мезонином,
Все тридцать клавишей
Зубов
Показывая гражданину.

— Даешь грозу!
Мы крепко — за,
За стиль,
Работу в этом роде.
Друзья, да здравствует гроза
И в человеке,
И в природе!

Пусть обывателям
Грозит.
А мы читаем,
И неплохо,
В китайских росчерках грозы
Идеи грозовой
Эпохи.

1929

53. ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Рязанец[1] прорвется:
«А ну, давай!»
И снова
Ни форм,
Ни лиц.
И рельсы
Бросаются под трамвай

---

[1] **Рязанцы** — лотошники, торговцы фруктами.

С настойчивостью
Самоубийц.

И снова
Диктаторскою рукой
Паккарды, Рено, людей
Проводит,
Ведет конвейер Тверской
К побоищам площадей.

Попробуй прорвать
Этот чертов мост,
Встать ему поперек!
И черная дума,
Как черный пес,
Путается у ног...

«...Наивен лирический
Твой шалаш
Среди небоскребов,
Поэт.
Напишешь фруктовую песню,
Продашь:
Прорвался — и снова нет.

И глупо.
Не стоит писать.
Для чего
Расходовать кипы сил?
Чтоб люди сказали:
«Да, ничего...»
А девушка:
«Ах, как мил!»

Эпохе сподручней
Огонь, и желчь,
И мужество до конца,
Чтоб жечь, понимаешь,
Глаголом жечь,
Как Пушкин сказал, сердца!..»

На Староваганьковском —
Русский сад...
На липах под медь — броня,
Над садом крикливо
Лоскутья висят
Московского воронья.

Среди индустрии:
«Вороний грай»,
И «Машенька»,
И фасад.
И вот он —
Гремит гумилевский трамвай [1]
В Зоологический сад.

Но я не хочу
Экзотических стран,
Жирафов и чудных трав!
Эпоха права:
И подъемный кран —
Огромный чугунный жираф.

Эпоха права!
И мне хочется встать
Эпохе во фланг
И рост...
Для этого стоит
И жить,
И писать...
И нянчить туберкулез.

1929

54. ДВА МИРА

Портóвая ночь.
Штилевая слюда.
На синий фарватер
Выходят суда.

---

[1] Стихотворение Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай».

Два судна,
Два белых
Строятся в ряд.
Два судна:
На Данциг
И на Ленинград.

«Лоцман, вниманье:
Тоннаж перегружен!»
Нах Руслянд[1] — машины,
Нах Полянд[2] — оружье.

Вокзальная ночь.
И на канапе
Качаются двое
В бордовом купе.
И лентой влетает
В оконную раму
Железнодорожная панорама.
К Столбцам пролетая
Сквозь ветер
И лес,
Как шпаги, глотает
Рельсы экспресс...

«Кондуктор, вниманье:
Разбудите ровно...»
Нах Руслянд — геолог,
Нах Полянд — полковник.

Галдят
    в латифундиях
        сытые псы...
Ночами
    над картами
        планов

[1] В Россию (нем.). — *Ред.*
[2] В Польшу (нем.). — *Ред.*

Склоняются
в штабе
густые усы
Налитого
кровью
улана.
Он сладко мечтает,
растроганный
пан,
Забыв
бельведерские беды,
Накинуть
на плечи
московский жупан,
Подбитый
уланской победой.
Он усом
не раз и
не два
отмечал
Большой дислокации метки.
Но всё он
приходится
не по плечам —
Московский
покрой
пятилетки.
Встают
неприступно
в горячем цеху
Железные стены
защиты.
И гладью — выходит —
на рыбьем меху
Победы
уланские
шиты!
Он знает
отлично:
войны не хотим,

Но если,
усатый
и пылкий,
Улан замечтается, —
укоротим
Мечтанья
от темени
и до затылка!
<1930>

55. О ЮНОСТИ

Мне говорят:
Мол, мы не дышим маем,
Мол, юности расцветок не берем.
Ах, чудаки!
Они не понимают:
Мы юношествовали с Октябрем.
Быть современником
Огромной славы: Ленин,
Включать в артерии
его
высокий ток!
Кто был моложе нас?
Какое поколенье?
Когда, скажите?
Кто?

Мне говорят:
Учитесь трелям Фета,
Льют соловьи,
Грохочет водоем;
Ах, чудаки,
Друзьям, как эстафету,
Мы, умирая,
Песнь передаем.
И эта песнь простреленной, пропетой,
Как кольт,
Как молоток, в работе под рукой.
Какой, скажите мне,

Из всех поэтов
Был больше нас поэт?
Скажите мне,
Какой?

Мне говорят:
История с колена
Вам метит в грудь...
Враг жив... не позабудь...
Ах, чудаки!
Всё наше поколенье
Над баррикадами поднять готово грудь.

Нас и не грел
Камин благополучья,
В сибирских рудниках
Нас шлепал адмирал.
Но рабский страх
Нас никогда не мучил.
И никогда
Осмысленней и лучше
Никто еще
Не жил,
Не умирал!..

1930

56. ПЕРЕД КАРТОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Грядущего карта — груба:
Чего там на Маркса коситься!
Давайте
Построим
Свои отруба
С бордюрчиком русского ситца!

«Чего там, — толкуют
Кривые умы,
Мечтатели правого крена, —
Вчера — Рябушинский,

Сегодня — мы
Едим
Поросенка с хреном.

Октябрь — это
Классовый мир,
Покой. . .»
Довольно, философы, каркать!
Мы видим совсем,
Совсем не такой
Грядущего нашего карту.

Не в ситце березок,
Не в русском овсе
На старокалужском насте, —
Грядущее видим
На светлом шоссе
Электриков-энтузиастов.

Нас каждого
Голод и холод прожег,
Над каждым ворон покаркал, —
И кровью пропитан
Каждый флажок
Этой великой карты!

Но мы понимаем:
Не сразу,
Не вдруг,
Не поднятым кверху бокалом,
А вскинутой волей
Мильонов рук
Берется сияние вольтовых дуг
С высоким октябрьским накалом!

1930

57. ПЕСНЯ СТАРОГО РАБОЧЕГО

1

Когда
я стану
стариком,
Мой сын
придет
и спросит:
«Скажи мне,
где,
отец,
при ком
Ты был
семнадцатую осень?»
— «Мой сын,
я дрейфить
не привык,
Я вел
на Смольный
броневик...»

2

Когда
я стану
стариком, —
Перебирая
даты,
Сын спросит:
«Где, скажи,
при ком
Ты был, отец,
в двадцатом?»
— «Мой сын,
мне домом
был окоп,
Мы с Фрунзе
брали
Перекоп».

3

Когда
я стану
стариком,
Сын спросит:
«А постой-ка,
Скажи мне,
где, отец,
при ком
Ты был
на штурмах
стройки?»
— «Для нас
был всё
фабричный дым:
Я был
рабочим
рядовым...»

4

И спросит
сын меня
тогда,
Окинув
старость
взглядом:
«Скажи,
а где ж
за все года,
Отец,
твоя
награда?..»
— «Ты — сын,
ты — новый человек,
Ты оправдал
мой труд,
мой век...»

1930

58. ПИСЬМО К ТОВАРИЩУ

...Я знаю —
зеленая
травка
Ложится увереннеи
в стих.
Но будет.
Я пробую
трактор
И в жизни,
и в строфах
своих.
Я отдал
березам
все дани.
Теперь я
додумал,
дорос —
За что́
молодые
дворяне
Певали
Россию
берез.
В далекую
темную
бытность
Вся эта
сусальная
дрянь
Обертывалась
как
«самобытность»
В квасном
диалекте
дворян.
О русские
песни
и тройки!

Затравлен,
забыт
и чуть жив,
На этой
московской
настойке
Дурел
«православный»
мужик.
Но я-то
в делах
Перекопов
Затем
и гремел
и громил,
Чтоб был
до корня
перекопан
Весь этот
усадебный
мир.
То
армией целой,
то горстью,
И вкривь
мы рубали
и вкось
С березовой
этою
костью
Дворянскую
белую
кость.
И видишь:
солидно
и прочно
Угроблен
классический
гнет.

И только
в лирических
строчках,
Бывает,
усадьба
мелькнет.
Но это —
страдатели,
шавки,
Скулящие
по старине.
Мы
видим
иные ландшафты
В своей
живописной стране!
Другие
тона
и мотивы
Принес
изумительный век.
И этот —
на локомотиве
Глядящий вперед
человек.
Еще
белокурым
подростком
Он принял
и пулю
и вошь.
И этого
на березку
Теперь
ты никак
не возьмешь.
Нет,
в трудных делах
Перекопов
Затем ты
гремел
и громил,

Чтоб был
до корня
перекопан
Весь этот
усадебный
мир...
Я слышал,
как старый
крестьянин
Сказал трактористу:
«Кажись,
И верно, мы, парень, достанем,
Выходит, партейную жись...»
День
густо клонился
на убыль,
И, собранные
в строку,
Богатые
сочные зубы
Сверкнули
в ответ старику...
Забыв
и себя,
и усталость,
Но молоды,
но стройны —
Мы травим,
как зверя,
отсталость
На бурных
дорогах
страны.
Счастливая
свежая
поросль
Металла,
людей
и сырца —

На третью
предельную
скорость
Поставила
наши сердца.
И скоро,
на солнце
алея,
Во весь свой
лирический рост
Широкой
шоссейной аллеей
Построятся
шумы
берез...
<1932>

59. СОЛЬ

С чистым весом
Слезы филигранной,
В сапогах,
Целиком, как вы есть,
На оптовый язык
Килограммов
Всё стараются
Вас перевесть.

А попробуй
Такую нагрузку
Примерять на кило
И на пуд, —
Так, пожалуй, под это
На Курском
Бесконечный состав подадут...

Я хотел бы,
Пока еще розов
Утром парусник,
Как-нибудь встав,

Для сердечных своих перевозок
Попросить
До Батума состав.

Мне мой труд
Не особенно сладок:
Как там песню
Стихом ни глуши,
Остается соленый осадок
Где-то
В водорослях души.

И хотелось бы,
Вычеркнув версты,
Стильным брассом волны голубой
Всю
Соленую эту разверстку
Опрокинуть
В батумский прибой.

Что для моря
Масштабов безгранных,
В этой общей
Соленой связи,
Два каких-то
Лирических грана
Сквозь стихи проступившей слезы?

Мелочиться
Ему не пристало.
А с такого, глядишь, пустяка,
Формируясь,
Сверкают кристаллы
Просоленного вдосталь стиха!

...Ты глядишь
С укоризной, товарищ?
Современник
И автор побед, —
Уверяю:
Без соли

Не сваришь
Ни один стихотворный обед.

Так пускай,
Разгораясь, не тухнет,
Сколь бы ни были
Судьи строги,
Эта чудная
Синяя кухня
Шторма,
Соли
И честной строки!

1932

60. ОПРАВДАНИЕ

Мне
Действительно лямку натерло,
И спасения прямо нет!
Как с ножом — понимаете —
К горлу
Подступают
Мои тридцать лет.

Где спастись
И куда мне податься?
Нет на свете
Такого пути!
И от этого
Заимодавца
Всё равно
Никуда не уйти.

Нет такой удивительной
Кровли!
А стране моей
И невдомек,
Что я словом,
Пропитанным кровью,
Многим людям,

Как хлебом,
Помог.

Да когда
И кому было дело
До такой захолустной глуши,
Как провинция
Бедного тела
Или темная область
Души!..

Крест
На всё это дело поставить, —
Вот, по-моему,
Способ один:
Быть спокойным
И время заставить
Подождать
С предъявленьем седин.

<1933>

61

Переваливая через
Чистоту песчаных сот,
Атлантическая челюсть
Берег гложет и сосет.

Сколько соли перепито,
Сколько слопано камня́?!
От такого аппетита
Страх нисходит на меня.

Мне знакома кухня эта.
Я и сам ведь... и меня
Посадили на диету
Трезвой влаги и камня.

Мне понятно (врать не стану!),
Мне, как лирику, видней —

Лодка с парусным султаном
И с двумя парнями в ней.

Для меня, понятно, пытка —
Наблюдать издалека,
Как везут ребята в слитках
Скумбрию и судака.

Я не слишком крепок телом,
Но люблю заняться вот
Нееврейским этим делом
На дыбы встающих вод.

Весла — врозь... Рукав — по локоть...
И вокруг, как от огня,
Заметет морская склока,
И пойдешь ты
Акать,
Окать,
На гребе́нь летя с гребня́!

Но положено мне РАППом
Заниматься, да не тем —
И сосать, понятно, лапу
Глубоко полезных тем...

Май 1933

62

Дождь устал
Косить
И цокать,
Мыть прозрачные луга.
И блестит,
Уйдя по локоть
В горы,
Радуга-дуга.

Подступает
С песней длинной
Тишь...

И, лежа на спине,
Тебердинская долина
Внемлет
Смутной тишине.

И тогда,
Мотая на́ ус,
В стариковской простоте,
Снявши шапку,
Амонаус
Так и замер в высоте.

День, томясь
И догорая,
Моет ноги в Теберде...
Где ты,
Где ты, дорогая,
Хорошо ли там тебе?

Июнь 1933

63. ИСКРЫ

...Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою...

Н. Гумилев

Я следил за небом робко,
Где — впопад и невпопад, —
Как по спичечной коробке,
Чиркал спички звездопад.

Так вот некогда горела —
Рассказал бы я тебе —
Трубка старого карела
В достопамятной избе.

Так когда-то не без риску,
Корпус лихо накреня,
Высекал я насмерть искру
Из армейского кремня!

Да, ни в хижине чухонца,
Ни в крутом седле бойца
Ни звезды своей, ни солнца
Не сыскал я до конца.

Где-нибудь в немецкой Туле,
Нами занятой в бою,
Отливает мастер пулю,
Искру, стало быть, мою...

Август 1933

64

У витрины световой Госторга
Вспомнил я, увидел с высоты
Молодость в солдатских гимнастерках
Неправдоподобной простоты.

Вот они стоят передо мною,
Юноши в семнадцать — двадцать лет,
Неприступной и живой стеною
Ныне воспеваемых побед.

Бóсые, нечесаны, небриты...
Но щетиной этих юных лиц
Были, как штыками, перерыты
Все обозначения границ.

Без сапог, в задрипанных обмотках,
Сквозь огромный азиатский дождь,
С песней, с матом, с кровью в сердце...
Вот как
Шла к бессмертью наша молодежь!

Шла, чтобы, наголодавшись вдосталь,
Занимая Керчь или Тагил,
Обрести последнее удобство
Братских достопамятных могил.

От Владивостока и до Польши
Проведен пунктир кровавый — тел.

Но спроси, поставь любого — больше
Ничего никто и не хотел!

Да и так ли мало быть пунктиром,
Или историческим звеном,
Между старым
И грядущим миром?
Мы и не мечтали об ином!..

Но, трудясь до белого каленья,
Зной крепя и плавя мрамор зим, —
Мы откроем новым поколеньям
Дверь в грядущее,
Как двери в магазин.

Сентябрь 1933

65. ИСПАНСКИЙ МОТИВ

Ни поесть,
Ни напиться.
От метелей
и вьюг
Эмигрируют
птицы,
Направляясь
на юг.
И товарищ
достойный
У советских границ
Наблюдает спокойно
Отправление
птиц.

Он спокоен,
Он знает:
Мы поем
не одни, —
Эта тема сквозная
И пернатым
сродни.

Эта песня
И в криках
Отлетающих
птиц,
И на всех
На языках
Деревень
и столиц.
И на рисовом поле,
Утонувшем
в поту,
И в глубоком подполье
В иностранном
порту.

...У меня
есть приятель,
Иностранный весьма,
Он мне
в трюме припрятал
Два испанских письма.

Интересное дело,
Как, врываясь в слова,
По-испански запела,
Без акцента,
Москва!..

Я с испанским —
заметим —
Очень мало знаком,
Но мы именно
этим
Говорим
языком,
Тем, который
и в криках
Отлетающих
птиц,

И на всех
на языках
Деревень
и столиц.

И на рисовом
поле,
Утонувшем
в поту,
И в глубоком подполье
В иностранном порту.

Мы горим
Для идеи
И услышим
хотя б,
Как испанским владеет
Взявший слово
Октябрь.

Октябрь 1933

66. БОЙ

По отряду ходит бой
В докторском халате.
«Ваня, милый, что с тобой?!»
— «И меня... ребята!»

И военный с бородой
Парню руку гладит:
«Это самый молодой
Был в моем отряде...»

Но отряд на слово — скуп.
Слева наступают.
Пулемету зуб на зуб
Аж не попадает!

Слева —
Бешеный огонь.
Справа,

Грохнув оземь, —
Падает убитый конь
В полковом обозе.

Бой идет —
Земля дрожит!
Пулеметы стро́чат...
На снегу один лежит
Мертвый пулеметчик.

Посмотрю...
И спасу нет —
До чего же молод!..

И над ним пятнадцать лет
Отливает красный цвет —
Знамя: серп да молот.

Ноябрь 1933

67. ПЕСЕНКА

Подари мне на прощанье
Пару милых пустяков:
Папирос хороших, чайник,
Томик пушкинских стихов...

Жизнь армейца не балует,
Что ты там ни говори!..
Я б хотел и поцелуи
Захватить, как сухари.

Может, очень заскучаю,
Так вот было бы в пути
И приятно вместо чаю
Губы теплые найти.

Или свалит смерть под дубом...
Всё равно приятно, чтоб
Отогрели твои губы
Холодеющий мой лоб.

Подари... авось случайно
Пощадят еще в бою,
Я тогда тебе и чайник,
И любовь верну свою!

1933

68. ИЗ ОКНА ВАГОНА

Ветер с дымом вперемешку...
И мелькает целый день,
Как военный в перебежке,
Россыпь русских деревень.
Знаменитая Россия! —
Топоры да темный сруб...
Но стоят, как часовые,
Городские меты труб.

...По старинке, скверно сшитый,
Я бы сам от мук своих
Встал под верную защиту
Этих рослых часовых.

Я не раз терял равненье,
Умирал не раз в тиши
От смертельного раненья
В область сердца и души!

Но пройдет... Я успокоюсь...
Так последний раз меня
Выноси, курьерский поезд,
Из-под этого огня!

1933

69. ПОЧТА

Далеко мы с тобою
И близко,
И не ближе семейных границ.

Потому так растет переписка
Долгих взглядов
И длинных ресниц.

Но работает
Очень не точно
И трагически для двоих
Эта
Слишком воздушная
почта
Поцелуев и вздохов твоих.

Мне неясен
Начальник усатый...
Как ты
Глаз от меня
Ни таи,
Я боюсь,
Не найдут адресата
Эти милые письма мои...

Слишком дорого стоит общенье
И невыгодно, наконец,
Неналаженное сообщенье
Двух
По сути обычных
Сердец!

Я уверен,
Когда мы покроем
Всю страну
Распорядком торца, —
Вдвое,
Может быть, даже и втрое
Будут ближе друг к другу
Сердца.

Но пока...
Отвечайте скорее!
Я с депешей
К наркому стучусь:

«Что мне делать,
Товарищ Андреев,
С этим транспортом
Экстренных чувств?..

Я готов
Хоть на пушкинских дрогах!..
Но, бровей ее темных темней,
Далека,
Бесконечна дорога
Занесенных разлукой путей».

1933

70. МЫ С ТОБОЙ

Мы с тобой
На открытой платформе
Под убийственным встали огнем.
Так давай, современник,
По форме
И по совести
Грудь застегнем.

Так давай, сотоварищ,
В обтяжку
Подтяни гимнастерку свою,
Не годится —
Душа нараспашку —
Рядовому болтаться в строю!

Если все-таки
Будет неловко
И неладно
В солдатской груди,
Ты тогда поднимись
И винтовку
По врагу разряди,
Разряди!

Табака при себе
Не имея,

Ты, смотри,
Не закуривай с ним...
Не всегда я
Такое умею,
Не всегда я
Бываю таким!

Забывая пароль
И уставы,
Непременные в деле таком,
Я нередко
У самой заставы
Толковал и курил
С земляком.

Вы дурную чувствительность эту
Не усваивайте,
Друзья!
То, что можно, пожалуй,
Поэту,
То бойцу
Ни в какую нельзя...

Отгремят,
Успокоятся бури,
Отдымит
И рассеется чад, —
Вот тогда
И споем,
И покурим,
И обнимем знакомых девчат.

1933

71. ПОЕЗД

Паровоз
              вагоны
                            тянет,
Пар
       пускает
                     под откос,

Крутит
длинными
локтями
У железных
у колес.

Паровоз
колеса
гонит,
Пролетает,
как снаряд...
Только слышно,
как вагоны
По-японски
говорят...

То ли в окна,
то ли в двери
Ветер глянул...
и назад:
И глазам
своим
не верит —
Столько
в поезде
солдат?!

Глянул ветер...
и не верит...
И торопится
к своим,
И летит,
летит
на север
К приамурским
часовым.

Через пущи,
через чащи,
Через мелкие
кусты
Мчится он...
и по-кошачьи
Выгибаются
мосты.

Он несется
росомахой
По сугробам
снеговым
И кидается
с размаху
На тулупы
к часовым!

Часовой
снимает чайник,
Улыбается
в ответ:
«Зря волнуетесь,
начальник,
Всё в порядке...
пьяных нет».

Мы не станем
драться
сами,
Но Союз
вполне готов...
Нам известно
расписанье
Всех
японских
поездов!

1933

72. ДЕТИ ОКТЯБРЯ

...Плыл туман
за ледяной горою,
И земля осталась
в стороне.
Но лицом
доподлинных
героев
Обернулись
путники
к стране.
В южный зной
и в северную
вьюгу,
Вековую
тьму
растеребя,
Так вот выглядят
на Севере,
на Юге
Подлинные
дети
Октября!

17 июня 1934

73. БАТЯ

По Кузнецкой улице
Ехал поп на курице...

Едет батюшка пешком,
Тарантас накрыт мешком —

А навстречу аккурат
Подымается отряд.

Дескать, батя, что везешь?
Дескать, стой, владыко!

Дескать, ми-и-и-ленькие, ро-о-о-жь...
Дескать, батя... а не врешь?
Дескать, покажи-ка.

Заглянули в тарантас.
Увидали... вот так раз!

В девятнадцатом году...
Ну и батя, ловко! —
В огороде, во саду
Родилась винтовка?!

Знаменитый *урожай.*
«Ну-ка, батя... подъезжай».

У попа в глазах черно.
«Господи Исусе...»
(Трехлинейное зерно
Не в поповском вкусе!)

Комиссар протер очки.
«Что же, благочинный,
Угадали мужички
Волка под овчиной?»

Да как взглянет на лицо,
Да как скинет ружьецо!

«На заборе про актрис
Интересно пишут...
Ну-ка, батя... становись.
Почитай афиши!..»

По Кузнецкой улице
Поп лежит на улице.

А на гору аккурат
Подымается отряд.

Октябрь 1934

74. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюдце,
Блестели зубы
У него.

Над ним неделю измывался
Японский офицер в тюрьме,
А он всё время улыбался:
Мол, ничего «не понимэ».

К нему водили мать из дому.
Водили раз,
Водили пять.
А он: «Мы вовсе незнакомы!..»
И улыбается опять.

Ему японская «микада»
Грозит, кричит: «Признайся сам!..»
И били мальчика прикладом
По знаменитым жемчугам.

Но комсомольцы
На допросе
Не трусят
И не говорят!
Недаром красный орден носят
Они пятнадцать лет подряд.

...Когда смолкает город сонный
И на дела выходит вор,
В одной рубашке и в кальсонах
Его ввели в тюремный двор.

Но коммунисты
На расстреле
Не опускают в землю глаз!
Недаром люди песни пели
И детям говорят про нас.

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!

1934

75. ЖЕНИХИ

Мама в комнате не спит.
Папа в комнате сопит.
И у мамы
И у папы
Недовольный явно вид.

Дочь приветствует в прихожей
Двадцати примерно лет,
На Онегина похожий,
В сапогах казенной кожи,
Бедный, видите ль, поэт!

А за городом, в усадьбе —
Как богат, хотя и сед, —
В сорока верстах от свадьбы
Славный вдовствует сосед.

И у мамы —
Грустный вид.
И у папы —
Грустный вид.

Мама в комнате не спит.
Папа в комнате сопит.
И у мамы
И у папы
Явно недовольный вид.

...Дорогая, дай усесться,
Дай мне место поскорей
Возле... где-нибудь... у сердца,
Рядом с нежностью твоей.

Да не бойся, сделай милость...
Ты взгляни на старый быт:
Мать легла и притворилась,
Что не видит
И что спит.

И никто нас не попросит
Не тушить с тобой огня.
И никто теперь не спросит,
Сколько денег у меня.

Сколько денег,
Сколько душ?
Сколько яблонь,
Сколько груш?
Кто богаче: ты ли, я ли —
И другую ерунду.

А соседа... расстреляли
В девятнадцатом году!

1934

76. ОТКРОВЕННОСТЬ

Ты устала, дорогая.
Триста с лишним дней в году!
Дни труда...
И ты в трамвае
Задремала на ходу.

Крепко сомкнуты ресницы.
Брови подняты дугой.
Кто тебе сегодня снится,
Мой товарищ дорогой?

Это, может быть, красавец
По лицу
И по уму.
Я деталей не касаюсь...
Но завидую ему.

Я себя последней спицей
Не считаю. Нет!
И мне
Тоже бы хотелось сниться
Многим девушкам
В стране.

Но тебе,
С которой вместе
Общим делом
Я живу,
Для которой столько песен
Написал я
Наяву,
Мне б особенно хотелось
Передать во сне привет.

Это, верно... мягкотелость?
Что ж поделаешь...
поэт!

1934

77. РАЗЛУКА

Разлука уносит любовь...
Кукольник

Ветер. Листья облетели.
И уже недели две
Серебристый шар метели
Куролесит по Москве.

Но пускай заносит зданья
Вьюга, снег... Ты не грусти.
Всё равно путей свиданья
Никому не занести.

И недолгими снегами
Ты была разлучена.
Жизнь стояла между нами,
Как Китайская стена.

Но в степи дорожной пыли
И в пыли людской молвы
Мы с тобой не позабыли
Климат любящей Москвы.

Ну, так дай скорее руки!..
Видишь: жизнью снесена,
Сметена стена разлуки,
Как Китайская стена.

1934

78. БАРАБАН

Пионерская песня

По ду-плу пу-сто-му дя-тел
Два ча-са дол-бит под-ряд.
Он к ко-стру как пред-се-да-тель
Со-би-ра-ет мой от-ряд...

Утро будет синим-синим,
Синим будет небосвод,
И под синей парусиной
Лагерь лесом проплывет.

Мы подбили крепко ноги,
Подковали каблуки,
И далекие дороги
Далеко недалеки!

Мы горячим сердцем видим
Все четыре стороны:
Если Гитлер —
ненавидим!
Если Либкнехт —
влюблены!..

Далеко, за синим морем,
Есть такие города,

Где о берег солью, горем
Бьет немецкая вода.

Мы в немецкие ворота
Грянем как-нибудь опять...
Мы их вызовем: «Эй, кто там!
Поднимайтесь! Будет спать!»

И на площади базарной
Вскинет каску динамит,
И винтовкой по казармам
Бунт солдатский прогремит!!

По ду-плу пу-сто-му дя-тел
Два ча-са дол-бит под-ряд.
Он к ко-стру как пред-се-да-тель
Со-би-ра-ет мой от-ряд...

<1935>

79

Какой контраст!.. Подумать стыд:
Куда ни глянь — повсюду,
Как медь пасхальная, блестит
Астральная посуда.

А посмотри на этот клен,
На этот чистый воздух:
Он ясен, он не застеклен
И держится на звездах!

Я сам под краном этих дней
Преображен и вымыт!
Насколько все-таки вредней
Для нас московский климат.

Я говорю про грустный быт,
Где в черепках разбитых
На медном примусе кипит
Пустая кипень быта.

Давай вдыхать простор Невы,
Глядеть на небо чаще,
Чтоб смыслом этой синевы
Прониклось наше счастье!

Февраль 1935

80. ПРОВОКАТОР

Н. Асееву

На углу Поплавской
Господин живет:
Борода — коляской,
Колесом — живот.

Кто такой — не знаю,
Он не говорит, —
У него пивная
Под названьем «Крит».

Музыка... и целый,
Целый день подряд
В «Крите» офицеры
За столом сидят.

Пиво и горошек
В ресторане «Крит»!
Господин хороший
Что-то говорит.

«Сорок первый номер...
Только поскорей...
В этом самом доме —
Комиссар еврей...»

Застучит калитка...
Через пять минут
На смерть и на пытку
Парня проведут.

Проведут за город
По дороге той,
По которой скоро
Мы придем домой!

...На углу Поплавской
Я сойду с коня.
«Будь, братишка, ласков,
Подожди меня».

Пиво и горошек
В ресторане «Крит»...
Господин хороший
За столом сидит.

«Сорок первый номер...
Ну-ка, господин,
В этом самом доме
Кто живет один?»

Посинеют жилы
У него на лбу.
«Раньше двое жили,
Да один... в гробу!»

...Три минуты время
И от силы — пять;
Подтяну я стремя,
Сяду я опять.

Пиво и горошек
Прямо — на полу...
Господин хороший
Прикорнул к столу!

Март 1935

81. НУ, ПОГЛАДЬ ПО ГОЛОВЕ

Ну, погладь по голове,
Намекни еще о счастье.
Это в городе Москве
Наблюдается всё чаще.

Пусть замрет рука в руке...
Посмотри, моя родная:
Протекают по реке
Разноцветные трамваи.

По бортам — вода каймой,
Винт работает всё чаще,
И клокочет под кормой
Молодое наше счастье!

Скоро
Гладкой, как слюда,
Станет кипень волновая.
Не останется следа
От любви
И от трамвая.

Этой ласковой рукой
Будет найдена — другая...

Но об этом пусть другой
И напишет, дорогая!

Май 1935

82. ЗДРАВИЦА

Пью за здравие Мери...
А. Пушкин

Над страной стою с бокалом
И прошу друзей помочь.
Пью за море!
Пью за скалы,
Подпирающие ночь!

За улыбки пью прохожих,
Близких сердцу моему.
Пью за девушек хороших,
Отдыхающих в Крыму!

Пусть почаще уезжают
Наши девушки на юг;
За успехи урожаев,
Расширяющих их круг!

Пью за нас,
За наше время,
За созвездие Тельца...
И за звезды, что на шлеме
У советского бойца!

За черешни Украины,
За республику в цвету!
И за ласковое имя,
То есть именно за ту,

Для которой почтой спешной
Отсылаем письма мы.
И цветут в садах черешни
Всех республик,
Всех семи!

Пусть над ней струится время
Юной свежестью своей
И кипит благословенье
Украинских тополей!..

Июнь 1935

83. СЕРДЦЕ

Ничего не пощадили —
Ни хорошее, ни хлам.
Всё, что было, разделили,
Разломали пополам.

Отдал книги,
Отдал полки...
Не оставил ничего!
Даже мелкие осколки
Отдал сердца своего.

Всё взяла.
Любую малость —
Серебро взяла и жесть.
А от сердца... отказалась.
Говорит — другое есть.

Июль 1935

81. ОСЕНЬ

Вот березы столетнего роста
Вечереют и пахнут свежо.
Я срезаю полоску бересты
И свиваю певучий рожок.

Я за таволгой спрячусь. И ветер
Я вдохну. И рожок запоет.
Так изюбрь меня не заметит
И на выстрел ко мне подойдет.

Так мы бродим нетронутым лесом.
Где-то звездочка светит едва,
Только небо лиловым навесом
Опускается на дерева.

Где дорога прямая, — спросить бы.
Под ногами валежник сухой,
Мы к заре доберемся до сидьбы,
Отогреемся свежей ухой.

И маньчжуркой набитые трубки
На просторе опять задымят...
На березах сухие зарубки
Нам о старых путях говорят.

Может, здесь партизаны ходили
По звериному следу врага,
Может, тихие песни водили,
И хранила те песни тайга.

И она сохранила на годы,
Но молчанье ее — до поры.
И к деревьям отменной породы
Лесорубы несут топоры.

Ничего, что в далекую просинь
От двустволки умчится зверье...
Золотая приморская осень —
Неподкупное счастье мое.

Сентябрь 1935

85. ПЕСЕНКА

Не пали́ по оробелым
Птицам. Порох пожалей...
Пусть гуляет пара белых
Приозерных голубей.

Над водой склонилась ива,
Будто шепчет в тишине.
Мы прибавим шагу, ибо
На привале грустно мне.

Видишь, створы издалёка
Засветили, и уже
Затихает птичий клекот
На последнем рубеже.

Мы стоим во всеоружье,
За прибоем спит страна!
И на тыщи верст в окружье
Нерушимая
она.

От Амура и до Шуи,
До Архангельска за Кемь

Мы храним ее, большую,
Нерушимую никем.

Дует ветер из-за сопок
В пограничные столбы,
Но крепки ряды Особой
И не дрогнут в час борьбы.

Октябрь 1935

86. ПРОИСШЕСТВИЕ

Вот какое дело было:
В доме девушка жила.
Уходила, приходила
И однажды не пришла.

Утром в теплую погоду
На реке, у сточных труб,
Перевозчики Освода
Под мостом поймали труп.

Увидали, изловили,
Заявили в комсомол.
Изловили, заявили,
Написали протокол.

Из Казани, из Рязани
Мать приехала и брат.
Посидели, поглядели
И уехали назад.

Две без малого недели
Волновался целый дом:
Как, мол, так, на самом деле?!
Не смогли!.. Недоглядели!..
Волновались две недели —
Да и кончили на том.

А теперь повестки в суд,
Понимаете, несут.

Говорят, что по закону
Незнакомый и знакомый —
Все ответственность несут...

Октябрь 1935

87. ПОСВЯЩЕНИЕ

Трудно нам с тобой договориться,
Трудно, милая, трудней всего:
Резко обозначена граница
Счастья твоего и моего.

И, усталые, полуживые,
Зубы стиснувши и губы сжав,
Мы с тобой стоим, как часовые
Двух насторожившихся держав.

Ноябрь 1935

88. ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Двое тихо говорили,
Расставались и корили:
«Ты такая...»
— «Ты такой!..»
— «Ты плохая...»
— «Ты плохой!..»
— «Уезжаю в Ленинград... Как я рада!»
— «Как я рад!!»

Дело было на вокзале.
Дело было этим летом.
Всё решили. Всё сказали.
Были куплены билеты.

Паровоз в дыму по пояс
Бил копытом на пути:
Голубой курьерский поезд
Вот-вот думал отойти.

«Уезжаю в Ленинград... Как я рада!»
— «Как я рад!!»
Но когда...
Чудак в фуражке
Поднял маленький флажок,
Паровоз пустил барашки,
Семафор огонь зажег...

Но когда...
Двенадцать двадцать
Бьет звонок. Один. Другой.
Надо было расставаться...
— «До-ро-гая!»
— «До-ро-гой...»

— «Я такая!»
— «Я такой!»
— «Я плохая!»
— «Я плохой!»
— «Я не еду в Ленинград... Как я рада!»
— «Как я рад!!»

Ноябрь 1935

89. ЛЮБОВНАЯ-ГОВОРНАЯ

Глупым недугом разлуки
Добрым людям сводит руки.

Наплодили Люды... Лиды...
Людоеды — инвалидов!

Очень больно, очень грустно,
Что любовь, как говорят,
Только лишняя нагрузка
Для трудящихся ребят.

Бродит Ваня по аллее:
«Что с тобою?» — «Я болею...»
А расспросишь инвалида,
Выясняется, что... Лида!

...Полюбить меня готовясь,
Ты люби меня на совесть.
Ты люби на самом деле,
Чтоб глаза мои блестели!

То ли дело... то ли ласка!
То ли служба... то ли дом!
Надоела неувязка
Между лаской и трудом!

Ты люби меня не вздорно.
Ты люби сто лет подряд!
Ты люби, чтоб крепла норма
У меня и у ребят!!

Люди встретят, люди спросят:
«Как работаем, Иосиф?
Как живется? Ничего?..»

Поведет Иосиф усом:
«Как живется? На пять с плюсом.
Я влюблен. Работа — во!»

Декабрь 1935

90. ФИЛОСОФСКОЕ

Мы с тобою станем старше.
Загрустим. Начнем седеть.
На прудах на Патриарших
Не придется нам сидеть.

Потолчем водицу в ступе,
Надоест, глядишь, толочь —
Потеснимся и уступим
Молодым скамью и ночь.

И усядется другая
На скамью твою, глядишь...
Но пока что, дорогая,
Ты, по-моему, сидишь?

И, насколько мне известно,
Я! — не кто-нибудь другой —
Занимаю рядом место
С этой самой дорогой.

Так пока блестит водица
И не занята скамья,
Помоги мне убедиться
В том, что эта ночь — моя!

1935

91. ПЕСНЯ ОБ УБИТОМ КОМИССАРЕ

Близко города Тамбова,
Недалёко от села,
Комиссара молодого
Пуля-дура подсекла.

Он склонялся,
Он склонялся,
Падал медленно к сосне
И кому-то улыбался
Тихо-тихо, как во сне.

Умирая в лазарете,
Он сказал:
«Ребята... Тут
Есть портрет... Елизавета —
Эту девушку зовут.

Красным гарусом расшитый —
Вот он, шелковый кисет!
Ну, так вы ей... напишите,
Что меня...
в помине нет...»

Мы над ним
Не проронили
Ни единого словца.
Мы его похоронили
Честь по чести, как бойца.

Но тамбовской ночью темной,
Уцелевшие в бою,
Мы задумались,
И вспомнил
Каждый девушку свою...

1935

92. КАССИР

Тосе

На вокзале хмуро... сыро...
Подойти сейчас к кассиру
И сказать без всякой фальши:
«Дайте мне билет подальше.
Понимаете... мне худо...»

А кассир: «Билет? .. Докуда?
До какого то есть места?»
— «Неизвестно!»
— «Не-из-вест-но?
А в каком, простите, классе?»

Пригибаюсь к самой кассе:
«Хоть на крыше, хоть в вагоне!..
Пусть в огонь!
Но только пусть
Этот поезд не догонит
Ни моя любовь,
Ни грусть...»

1935

93. СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Доктора... они не понимают:
Малярией, говорят, томим.
Мне прописано. Я принимаю
Добрые советы
И хинин.

Это только для меня зацепка —
Оставаться целый день с людьми...
Не придумали еще рецепта
Против неудавшейся любви.

Я спасался...
Семенил ногами,
Падал и садился на коня...
Это старое мое недомоганье
Много лет преследует меня!

Видимо,
Одних разъездов мало.
Видимо, и здесь опять
Огневые средства аммонала
Следует, как в море, применять.

Мы с тобою, если разобраться
(Попросту и честно говоря),
Не способные прорваться
На соединение моря.

Да, моя любимая,
Не смейся:
Мы остались разными людьми...
Резкий климат тихого семейства
Не способствует работе
И любви.

А советы
Помогают слабо.
Да и слушать стало их невмочь.
Ты одна мне, милая, могла бы
В этом деле чем-нибудь помочь.

...Над страной
Всё небо в крупных звездах.
Я стою в раздумье у дверей.
Надо рвать...
И пусть летят на воздух
Камни... кровь... но только поскорей!

1935

94. ЛЫЖНИ

Вы уедете, я знаю,
За ночь снег опять пройдет.
Лыжня синяя, лесная
Постепенно пропадет.

Я опять пойду средь просек,
Как бывало в эти дни.
Лесорубы, верно, спросят:
«Что ж вы, Павлович, одни?..»

Как мне гражданам ответить?
О себе не говорю!
Я сошлюсь на сильный ветер
И, пожалуй, закурю.

Ну, а мне-то...
Ну, а мне-то?..
Ветра нет... ведь это ж факт...
Некурящему поэту
Успокоить сердце как?

Или так и надо ближним,
Так и надо без следа,
Как идущим накрест лыжням,
Расходиться навсегда?..

1935

95. О СЛАВЕ

От тебя-то я не скрою,
Расскажу тебе одной:
Иностранного покроя
Есть костюмчик выходной.

Модный. Новый. Как с иголки!
Не костюм — смертельный яд.
От такого комсомолки
На ногах с трудом стоят.

Только мне, скажи на милость,
Мне-то что, в веселых, в них,
Если ты остановилась
На петлицах голубых?

А меня от них чего-то
Нынче тянет на кровать.
Выходной. А неохота
Новой тройки надевать.

Лягу я. Сомкну ресницы.
Позабуду про Москву.
Пусть мне что-нибудь приснится:
То, что будет наяву.

Я не летчик — я не бравый.
Но мне кажется: в Москве
Все мы, девушка, от славы
На каком-то волоске.

Я проснусь, глаза открою, —
И глядишь: в другой судьбе
Парень штатного покроя
Станет нравиться тебе.

Я тогда обед устрою,
Тройку вытащу опять!
...Или, может быть, не стоит
Беспокоиться — и спать?

1935

96. ПОСВЯЩЕНИЕ

Так много врем, так мало верим...
Пять лет прошло теперь почти,
Как, с возмущеньем хлопнув дверью,
Меня оставили мечты.

Остатки счастья проживая,
Менял я женщин и места.

Душа моя, как нежилая,
Была огромна и пуста.

Глубокой мглой и дремой о́блит,
Я шторы наглухо спустил
И спал... пока твой светлый облик
Меня опять не осветил.

И в это радостное утро,
Давно забытое почти,
Я увидал опять как будто
Знакомое лицо мечты.

В моей разбуженной прихожей
Я узнаю ее, любя...
Она, как в зеркале, похожа,
Моя родная, на тебя!

1935(?)

97

На столе — бутылка водки,
Под столом — разбитый штоф.
Пью и плачу я... ах, вот как
Обернулась ты, любовь!

Я — и душу, я — и тело...
Я и водку начал пить...
Для меня ты не хотела
Юбки новой позабыть.

Ах, всё чаще, чаще, чаще
Вижу я твое манто.
Проезжает мое счастье
В лакированном авто.

Юбка, шляпка дорогая,
Сумка с модным ремешком...
Наплевать... Любовь, я знаю,
Ходит под руку пешком.

Он не знает, он не спросит,
Любишь ты или шалишь.
Поиграет он и бросит,
И укатит в свой Париж.

Побледнеют твои губы,
Ручка высохнет твоя...
Кто тебя тогда полюбит,
Парижаночка моя?

Кто такая — не она ли
Ходит в кофте голубой?..
На каком-нибудь канале,
Может, свидимся с тобой?

1935(?)

98

Задала любовь задачу
Нам с тобою вместе жить,
Да не вышло нам удачи
Дело трудное решить.

Кто ошибся: ты ли, я ли,
У кого белей виски, —
Не скажу. Но простояли
Восемь лет мы у доски.

Разошлись... И слезы в горле.
Нет, не слезы — это кровь!
Мы, как дети, просто стерли
Нерешенную любовь...

Март 1936

99. ПИСЬМО

Мы не рыбы и не птицы,
И в отечестве своем
Мы привыкли веселиться
И печалиться вдвоем.

Задала любовь задачу...

Задала любовь задачу
Нам с тобою рядом жить
Да не вышло нам удачи
Дело трудное решить

Кто ошибся: ты-ли.. я-ли,
У кого белей виски
Не скажу. Но простояли
Восемь лет мы у доски

Разошлись.. и слезы в горле.
Нет, не слезы - это кровь..!
Мы как дети.. просто.. стерли
Нерешенную любовь

Одиноко мне и жарко.
Напишу возьму письмо.
Есть конверт. Наклею марку.
Пусть идет себе само.

Все сто семьдесят мильонов
Письма пишет, писем ждет, —
Парень с сумкой почтальона
К одному из них придет.

Кто он? Летчик? Врач? Учитель?
Кто? Профессия не в счет!
«Распишитесь. Получите»,
И получит. И прочтет.

А потом к столу присядет
И напишет мне ответ.
Кто? .. Чарджуйский, скажем, дядя,
Не писавший двадцать лет,

У которого баштаны
И который сбился с ног.
У которого бесштанный
Старший сын и пацанок.

Но который на рассвете,
Пораскинувши умом,
На мое письмо ответит
Вразумительным письмом.

Потому что и в Чарджуе
И в любом другом краю
Люди наши боль чужую
Принимают как свою!

Март 1936

100. МАРУСЯ

Партизанская песня

Маруся, Маруся, зеленые очи,
Родная сибирская кровь!

Как вспомню — так вздрогну, так память грохочет
Огнем партизанских боев.

...Гремят батареи, гудят переправы,
Строчит пулемет, как швея.
Винтовка и лошадь, да звезды, а справа,
Маруся, кожанка твоя!

Мы близкие люди, мы дети предместий,
И ты говоришь мне сквозь гром:
«Мы вместе играли, мы выросли вместе
И вместе, наверно, умрем».

А враг не сдается. А пуля не дремлет,
Строчит пулемет, как швея!
И ты покачнулась, и тихо на землю
Упала кожанка твоя!

Я помню тот вечер, я знаю то место,
Где грустно сказала она:
«...Мы вместе играли, мы выросли вместе,
Но я умираю... одна».

Маруся, Маруся, зеленые очи,
Родная сибирская кровь!
Как вспомню — так вздрогну, так память грохочет
Огнем партизанских боев.

Март 1936

101. ЛЮБОВНАЯ ШУТОЧНАЯ

Не дивимся, если хлопец
Ходит с дивчиной за тын.
А дивимся, если хлопец
Ходит по двору один.

Мы таких сейчас к ответу —
Хоть в каком он будь чину:
«Есть супруга или нету?
Если нет, то почему?»

Побалакаем. Расспросим.
Вызовем. Поговорим.
Не согласен? Перебросим
На работу
В Крым.

Пусть попробует на юге,
Где сама земля как печь,
От воды
        и от супруги
Хлопец сердце уберечь!

...Не дивимся, если дядя
Ходит с дивчиной за тын,
А *боимся,* если дядя
Долго ходит холостым.

Мы таких сейчас к ответу:
«Почему и отчего
Промышляете
                и нету,
Дядя,
        саду *своего?»*

Побалакаем. Расспросим.
Вызовем. Поговорим.
Не согласен? Перебросим
На работу,
Но... в Нарым.

Пусть на Севере далеком,
Где снегов белеет гладь,
Где, насколько хватит око,
Человека не видать,

Где медведь идет по следу,
Где и птице негде сесть,
Пусть попробует к соседу
В сад супружеский залезть!

Июнь 1936

102. НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ

Не люблю, если сыро и гнило.
Красотой этих мест покорен,
Для своей односпальной могилы
Я бы выбрал Можайский район.

Журавель над крестьянским колодцем,
Солнце-еж копошится в овсе.
И, как песня, петляет и вьется
Уходящее в небо шоссе.

Мне приятно: семейные козы,
Холм зеленый да речка вдали...
Уступите мне, люди колхоза,
Если можно, немного земли.

Говоря без стыда и зазнайства,
Честный лирик, не шелопай,
В коллективном советском хозяйстве
Я имею свой маленький пай.

Мне не надо паккардов очкастых,
Стильных дач... Я прошу об одном:
Отведите мне скромный участок
В две сосны под зеленым холмом.

Это мало. И думаю, это
Не испортит природы красот.
А засеете... Сердце поэта
Снова чистым зерном прорастет.

Не имея других капиталов,
Это сердце, питавшее стих,
И при жизни собою питало
Современников славных моих.

Сентябрь 1936

103. ПЕСНЯ О ПАСТУШКЕ́

Возле моста, возле речки
Две березки, три овечки.

На селе кричит петух,
У реки сидит пастух.

Возле моста, у реки
Проходили казаки,

Услыхали петуха,
Увидали пастуха.

Есаул навеселе:
«Сколько красных на селе?»

Пастушок ломает прутик,
Головой белесой крутит.

Казаки навеселе:
«Подсчитаем на селе!»

Поскакали... а пастух
Снял порты да в воду — бух!

На селе смеются бабы,
А пастух, задами, — к штабу.

Поспевает, слава богу,
Комиссар кричит тревогу...

Коммунисты к пулеметам,
А казаки-то наметом!

Наступают... отступают...
Пулемет чубы считает!

Насчитал без мала до́ ста —
Остальные к речке, к мосту.

Кто мостом, а кто и вброд,
...А пастух назад плывет.

Вылезает из реки,
А у моста казаки.

Увидали: «Ты откуда?
Говори... то будет худо!»

Пастушок: «В реке купался,
Мне, кубыть, таймень попался»,

Казаки: «Какой таймень?!
Сучий сын... скидай ремень!!»

...Возле моста, возле речки
Две березки, три овечки.

На селе кричит петух...
На ремне висит пастух.

Октябрь 1936

104. АЗОРСКАЯ ПЕСНЯ

Где-то на Азорских островах
Девушки поют чудну́ю песню.
В тихих и бесхитростных словах
Вымысел скрывается чудесный.

Девушки бровями поведут.
Головы нерусские наклонят, —
И по океану
вброд
идут
Ярые буденновские кони.

Ленты боевые на груди,
Куртки знаменитые из кожи.
Конница идет!
А впереди
Парень — на азорских не похожий.

Тонкий и кудрявый, как лоза,
Гибкий, как лиана, и высокий.
У него
Хорошие глаза
С южной украинской поволокой.

Для него
Платки девчаты ткут,
Юноши идут к нему брататься.
От него,
Как от огня, бегут
Толстые смотрители плантаций!

...Не могу я песню позабыть!
По Москве хожу как сумасшедший.
Я хотел бы
парнем этим быть,
В песню иностранную вошедшим.

Много я бы мог перетерпеть:
Тропики, контузию, осколок,
Только б о себе заставить петь
Молодых азорских комсомолок.

Думаю, в бою, не на словах,
Многое друзья мои терпели,
Чтобы на Азорских островах
Девушки по-комсомольски пели.

1936

105. ПОЧЕМУ?

Берег на́ берег глядит.
Подними свои ресницы:
На одном — сосна стоит,
На другом — трава лоснится.

Разделила их река.
Но стоят они родными:
Мост, как длинная рука,
Протянулся между ними.

Почему же, мальчик мой...
Это так обидно, право!..
Между мною и тобой
Никакой нет переправы?

1936

106. КОНДРАТИЙ РЫЛЕЕВ

...За тяжкий труд моих страданий
Вознагражден и я, поэт,
Не шубой славы стародавней
С царевых плеч... Не чином. Нет!

Но тем, что все мои печали,
Мужавшие день ото дня,
Народной болью прозвучали!
И тем — что слушает меня

Народ на площади морозной,
Не утирая слез с лица,
Как слушали еще при Грозном
На Красной площади слепца.

1936

107. СТАРАЯ ПЕСЕНКА

Было, доктор, правда, было
Сердце, полное огня.
Было, доктор, да и сплыло.
Нету сердца у меня!

Доктор, выслушайте, сверьтесь,
Помогите... буду рад.
Разве, доктор, станет сердце
Так стучаться невпопад?

Люди — люди не поверят.
Не поверят?.. Ну и пусть.
Это я к любимой в двери
На Остоженке стучусь.

Ни ответа, ни привета...
Вот уже четыре дня
Отвечают: «Нету!.. Нету!..»
Нету сердца у меня!

1936

108. ПАМЯТЬ

Снега нет в полях тоскливых,
И опять, уйдя с полей,
Память роется в архивах
Пожелтевших тополей.

Кто просил тебя и нанял —
Ногтем пó сердцу скребя, —
Грустный труд воспоминаний
Взять сегодня на себя?

Да и что еще осталось
На съедение зиме?
Листьев ржавая усталость
С тяготением к земле?

Или, слитая с листвою,
Слез наигранных слюда?
Это всё уже не стоит
Ни страданий, ни труда...

Первый снег... — и с первым снегом
Наступающей зимы
Под глухим ее ночлегом
Это всё уснет...
И мы,

Мы, наверно, с базы ближней
Подадимся снова в путь,
С первым снегом, — первой лыжней
Накрест всё перечеркнуть...

Март 1937

109. ЗАВЕЩАНЬЕ

Как посмотришь иногда... не скоро ж
Люди станут искренни и просты!
Почему влюбленных гонит сторож,
Гонит с кладбища? Не понимаю просто!

Проступает в надмогильных кленах
Жизнь, которой под землею тесно;
Чем же это место для влюбленных
И неподходяще и не место?

Несогласен с глупыми вещами!
Как противник косности и гнили,
Я оставлю вместо завещанья
Вот какую надпись на могиле:

«Если ты не вор и не громила,
Если ты влюблен и счастлив с другом,
Приходи сюда! Моя могила,
Гражданин, к твоим услугам...»

Апрель 1937

110. РАЗГОВОР

Два товарища хороших
Вдоль по улице брели,
Два товарища хороших
Разговор такой вели:

«Я, — сказал который старше, —
Не загадываю впредь,
Но хотел бы с песней, с маршем
За свободу умереть!

Если мне судьба свалиться, —
Так уж лучше за Мадрид,
За испанскую столицу», —
Первый парень говорит.

А другой глядел на небо,
Где сквозили синь и медь.

И сказал другой:
«А мне бы...
Не хотелось умереть.

Ни на шаг не отступая,
И при жизни я могу
Быть героем,
уступая
Смерть и музыку врагу».

1937

111

Не гляди так злобно и устало.
Это время паводков и льдин.
(Да, разлука — время рекостава!)
Ты страдал, Иосиф, не один.

Слишком были реки многоводны,
Слишком были чувства глубоки.
Но конец. Разлука. И свободно
Рубят лед пешнями рыбаки.

Ледяное поле недвижимо.
Только разве, смыслу вопреки,
Ледяному вопреки режиму —
Под пешней проступит путь реки.

Или над халупой рыболова,
Как непостигаемый намек,
Заструится и свернется снова
Одинокий голубой дымок...

Март 1938

112. ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ

И. Д. Папанину

Был снег, и тем не менее
Синица на сосне
Обменивалась мненьями
С другими о весне.

Но, видимо, на ясене
    Вопросы не ясны:
Возникли разногласия
    По поводу весны.

Всё утро, как на диспуте,
    Перекликался лес.
И даже дятел выступил,
    Когда в дупло залез!

А люди, — ну, не глупо ли! —
    Все доводы проспав,
Гадали под тулупами,
    Кто в этом споре прав.

И только школьник маленький —
    Хотя и был он мал, —
Не надевая валенки,
    Синицу понимал.

Повел глазами добрыми
И согласился: «Да,
Весна. И значит, вовремя
    Братки
    Ушли
    Со льда».

Март 1938

113. ОХОТА НА УТОК

Тиха легавая, как мышь,
Крадется... — Пиль! Но кряки чутки;
И, криком огласив камыш,
Обидев суку, смылись утки.

А я, по правде, рад за них,
Я рад тому, что птицы смылись:
Простая радость за родных
И за своих однофамилиц.

Меня и брали на прицел,
И поднимали стойкой сучьей,
И если я остался цел,
То это лишь счастливый случай.

Нет, мне охоты не постичь.
Стрелять учиться слишком поздно!
Не убивать я создан дичь,
А птицам радоваться создан.

И пусть, хозяина кляня,
Мой пес глядит печально в воду.
Что ж критика... она меня
Не понимала сроду!

Зато всё утро, как-никак,
Хотя они давно и смылись,
Я слышу благодарный кряк
Моих живых однофамилиц!

Май 1938

114. ДОЖДЬ В ДЕТСКОМ САДУ

Смолкла птица... Сникла ветка.
И срывается с гвоздя
Металлическая клетка
Полосатого дождя.

И не дождь совсем, а мушки
На фонарь хотят присесть!
И не мушки, а к кормушке
Приглашают куриц есть!

Нет, не просо! И не птицы
Пробегают через сад:
Это спицы, просто спицы
Мокрым садом колесят!

Или — знаю: это льется
И не дождь, а — провода.
И по ним передается
Очень срочная вода!

Ну, тогда мы непременно
Все узнаем перемены!
«Соберите молодежь!
Интересно, что за новость
Сообщает детям дождь?»

Точка... точка, запятая...
Ну, конечно... так и есть!
Из Мадрида и Китая
Телеграммы детям есть.

«Дорогие, — пишут, — детки,
Не-пре-мен-но победим!»

...Дождь прошел. На мокрой ветке
Пар колеблется, как дым.

Май 1938

115. УРОЖАЙ

Как доктор выстукаю землю,
Склонюсь и выслушаю грудь.
Она не спит,
Но только дремлет,
А ей бы надобно уснуть.

Ей год от года тяжелее.
Ни сна, ни отдыха ей нет
Уж много лет!
Не пожалеет
Ее никто уж много лет.

И только мы, сказать хочу я,
Да, только мы — своим жнивьем,
Трудом своим — ее врачуем:
В ладу с трудом своим живем.

Не потому ли так обильна
И к нам признательность земли,
Что мы под насыпью могильной
Своей земли не погребли?

Что, будь то сопки или пади,
Где может утвердиться злак,
Под смерть и кровь единой пяди
У нас отнять не может враг?

Да не иссякнут урожаи
Страны, где трудятся... И да
Погибнет тот, кто угрожает
Плодам народного труда!

Июнь 1938

116. РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ

Не могу, когда руками машут
Матери на бедных сыновей.
Я нескромен!
Милая мамаша,
Что еще? Куда еще скромней?!

Ну, а если даже я нескромен
И мирскими радостями сыт, —
Это — всё, что мне дано, мамаша! Кроме
Мне же ни-че-го не предстоит.

Вам не то. У вас другое дело.
Вы себе живете не спеша —
А умрете, похоронят тело,
К богу переселится душа.

И опять ни голода, ни жажды:
Ты себе одет, обут и сыт.
И выходит: то, что мне однажды,
Вам, мамаша, дважды предстоит.

Вы и не торопитесь, понятно,
Ну, а мы стараемся успеть:
Наработаться, поесть приятно,
Песню, понимаете ли, спеть.

Потому что если упокоят
Нашу неприкаянную плоть —
Просто... не пошевелит рукою
Для таких безбожников господь!

Июнь 1938

117. ЭХО

Я не слезлив. И это с детства.
А если как-нибудь потек, —
Всегда сдержусь, найдется средство:
Ну, зубы сжал... ну, взял платок.

Но я смешлив. И вот несчастье:
Уж если мне смешинка в рот, —
Какой там зубы — тут на части
Не то что зубы — череп рвет!

И хоть бывает не до смеха,
Но если, братцы, прорвалось,
Клокочет смех! Грохочет эхо
Слез, досмеявшихся до слез...

Октябрь 1938

118

Как ослепительно, как ярко
Горит звезда твоих побед!
Каким же праздничным подарком
Тебя почту? Достойных нет.
Но знак подай. И без укора,
Тобой воспитанный в борьбе,
Я жизнь отдам свою,
Которой
Мы все обязаны тебе.

Октябрь 1938

119. СТИХИ О ПОТЕРЯННОЙ СОБАКЕ

О, как это близко и знаемо!
...Толпа тротуаром плывет,
А пес, потерявший хозяина,
Во мне его ищет...
                                И вот

Он тычется мордой в прохожих...
Обнюхает боты, пальто,
Посмотрит — как будто похожий,
А в душу заглянет — не то!

Жестоко разлукой терзаемый,
Я чувством собачьим томим:
Я тоже утратил хозяина
Над сердцем дурацким моим.

И в банде красавиц прохожих
Кидаюсь, как пес, под авто,
Я тоже встречаю *похожих*
И в ужасе вижу — не то!

1938

120. НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

Хороша, любима повсеместно
Песня про Степана-казака!
Но одно в ней есть плохое место,
Волга матушка-река.

Но с одним я в песне не согласен —
Ох, уж этот разиновский пыл! —
Некрасиво в этой песне Разин
С бедной персианкой поступил.

Разойдись — никто с тебя не спросит,
Уплыви с другими на войну,
Но бросать... да и не просто — бросить,
А ведь *в набежавшую волну?!*

Если это факт, а не поклепы, —
Стыдно за Степана-казака.
Не люблю, когда красавиц топят,
Волга матушка-река!

На меня напраслину возводят.
Напустили кумушки туман,
Будто я с супругой не в разводе,
А в известном роде... атаман.

Всё моя поганая осанка!
Нет уж, если песня сложена,
Я-то в этой песне... персианка,
Атаманом, собственно, жена.

Говорю по правде (без тумана),
Очень многим женам, может быть,
Хочется супругой-атаманом,
Волга-матушка, побыть.

А попробуй на такую моду
Кто-нибудь благословенье дать, —
Так, пожалуй, в веденье Освода
Надо будет загсы передать!

Потому, кого бы ни спроси вы,
Если он об этом не забыл, —
Всякий скажет: «Очень некрасиво
Разин с персианкой поступил!»

1938

121. ПЕСНЯ О МЛАДШЕМ БРАТЕ

На каштановой головке
Нежный локон теребя,
Он спросил: «Наган с винтовкой?..
Это много для тебя».

Я сказал: «Не стоит, Вася.
Мать стара. Пускай один
Остается. Оставайся
Для родительских седин».

У садовой у калитки
Мы простились кое-как.
Слезы тонкие, как нитки,
Намотал он на кулак.

И сказал: «Ступай, Володя...»
Он взглянул,
И с того дня
Восемнадцать лет не сводит
Этот мальчик глаз с меня.

Эту тоненькую ветку,
Эту слабенькую грудь
Вся японская разведка
Не могла никак согнуть!

На тюремной на кровати,
Губы, руки искусав,
Умер он,
О старшем брате
Ничего не рассказав...

1938

122. ДОБРОЕ СЛОВО

От доброго слова собака моя
Срывается с места, кружится юлою,
Визжит, колбасится: довольна! а я...
Я, кажется, скоро... собакой завою.

Кто знает жестокий и тихий твой нрав?
Не тронув тебя ни стихами, ни плачем —
Как пудель, уставясь и морду задрав, —
Не трону ль тебя я страданьем собачьим?

И как бы я ни был измучен и слаб,
Но если окликнешь... по первому звуку
Я кинусь со всех четырех своих лап
Лизать эту нежную женскую руку.

И мир прояснится от пальцев твоих,
И в мире, где столько собак и вопросов,
Счастливей не будет вот этих двоих
От доброго слова визжащих барбосов!..

Декабрь 1938

123. ДОЖДЬ ИДЕТ

Не догадаться, не расслышать,
Идти калякать,
Когда кричит, как на афишах,
Намек каракуль.

Не разобрать знакомый почерк
Дождей московских, —
Когда читаешь между строчек
Сырых и скользких.

А дождь проходит по столице
К Замоскворечью.
И вот опять не состоится
Сегодня встреча.

Опять гудит холодный провод:
«Никак не выйдет!»
Опять для вас удобный повод
Меня не видеть.

Никак не выйдет — безусловно.
Сидите дома.
И вот вам справка,
Где подпись молний
С печатью грома.

1938(?)

124. СВЕЧА

Рассказ матери

Только думала спать,
Как у хутора
Загундосил опять
Кто-то муторно.

Завалилось ко мне
Трое гавриков.
Надымили они,
Как на фабрике.

Прицепились опять:
«Сына Якова
Не видала ли, мать?» —
Аж заплакала!

Поглядел офицер:
«Что... не весело?
Ладно, Яков твой цел:
Не повесили».

Я за свечкой — к попу!
...Поп неласковый.
Чай лакает в поту,
Блюдцем ляская.

Говорит — не глядит,
Просто в ярости:
«Убежал твой бандит
Из-под а́реста».

У меня по спине
Будто оспины:
«У-бе-жал?! Ах ты мне,
Ах ты господи!»

Поп как топнет ногой:
«Нету доступу
Коммунистке такой
К богу господу!!»

Я попу: «Не кричи! —
Раз полегчало,
Мне и ставить свечи,
Может, не к чему...»

Январь 1939

125. НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

«Ну-ка, двери отвори:
Кто стоит там у двери?»
— «Это нищий, Аннушка».

— «Дай краюху старику
Да ступай-ка на реку:
Кто там стонет,
Будто тонет?»
— «Это лебедь, Аннушка».

— «Ну так выйди за плетень:
Почему такая тень?!»
— «Это ружья, Аннушка».

— «Ну, так выйди за ворота,
Расспроси, какая рота:
Кто? Какого, мол, полка?
Не хотят ли молока?»
— «Не пойду я, Аннушка!

Это белые идут,
Это красного ведут,
Это... муж твой, Аннушка...»

Февраль 1939

126. ВЕТЕР

Одинокий, затравленный зверь —
Как и я, вероятно, небритый, —
Он стучится то в окна, то в дверь,
Умоляя людей: «Отвори-и-те...»

Но семейные наглухо спят.
Только я, не скрывая зевоты,
Вылезаю к товарищу в сад,
Открываю окно: «Ну, чего ты?..»

Что поделаешь... ветру под стать,
У семейных считаясь *уродом,*
Не могу, понимаете, спать,
Если рядом страдает природа!..

Февраль 1939

127. ПОЭТУ

Нелепая эта идея —
На возраст коситься в стихах,
Писать: угасаю... седею...
И ох, дорогая, и ах!

Напротив: седин не касаясь,
Тверди, не жалея труда:
«Я молод, — тверди. — Я красавец.
Я юн... и еще хоть куда!»

Пускай в это верится слабо,
Ты всё-таки цели достиг:
Не выйдет любовь... то хотя бы
Получится радостный стих...

Февраль 1939

128

Глохнет одинокая моторка.
Берег травянистый невысок.
Мы одни. Вдвоем.
И ты с восторгом
Прыгаешь из лодки на песок.

Мы одни... Одни! Но, дорогая,
В одиночестве стараясь быть,
Мы с тобой людей не избегаем, —
Мы их обгоняем, может быть.

Всех их ждут березовые чащи.
Потому, откинув ложный стыд,
Мы сегодня получаем счастье —
То, что им лишь завтра предстоит!

Март 1939

129. ТОВАРИЩИ

У мастера дочки
Похожи, как точки,

И обе блондинки,
И обе в кудряшках;
Мне нравится младшая,
Старшая — Яшке.

Мне нравится Вера,
Товарищу — Варя.
Мы ходим по скверу,
Сидим на бульваре.

Спускаемся к лодкам,
Катаемся в лодке.
И так протекает
Вечер короткий.

Пора расходиться.
«Всего... до свиданья».
Мы молча плетемся
Вдвоем со свиданья

По улицам сонным
Вдоль сонных заборов —
И тут начинаются
Старые споры:

«Какая красивей?»
«Какая умнее?»
...Ни он и ни я —
Мы хитрить не умеем!

«По-моему, Варя».
— «По-моему, Вера».
Товарищ бледнеет,
Я делаюсь серым.

Мы оба, насупясь,
Глядим друг на друга,
Но я... обнимаю
Влюбленного друга:

«Ну, ладно...
Довольно глядеть исподлобья:
Они интересные девушки
Обе,

И умницы — обе,
И очень похожи!»
...На нас с изумленьем
Смотрит прохожий.

А мы и не видим.
Для нас не в новинку,
Поспорив, обняться
И топать в обнимку.

Июль 1939

130. СВИДАНИЕ

Осеннего поля
Покой нелюдимый,
Герой над рекою
Гуляет с любимой.

Впервые опять
После долгой разлуки
Увидел он Волги
Родные излуки.

И солнце на касках
Пустых колоколен
Увидел опять он!
И парень доволен.

О, как тосковал он
Об этом порою!..
Как помнил, родная!..
Но только героя

Родная в нем видит.
«Скорей говорите:
Вы к нам из Мадрида?
Вы были в Мадриде?

Герой Теруэля...
Как это прекрасно!»
Но он не согласен:
Ну, это уж басни.

Он был как и все,
Как другие бывают:
В разлуке не пуля —
Тоска убивает.

А он тосковал...
И парень краснеет.
Но разве румянец —
Оружие с нею!

«Вы к нам из столицы?
Вы были в столице?
И вас принимали
Известные лица?

Ну, что вы молчите?!»
И, скромно потупясь,
Он вдруг признается:
«Ах, это всё глупость!

Да, был. Принимали...»
Но и в столице
В одно дорогое
Сливались все лица.

Герой, говорите...
Но даже в сраженье

Он видел ее лишь!
«Вы слышите, Женя? ..»

Но где там... Не слышит!
Подернулось око
Каким-то туманом.
И где-то далёко
Парит ее взгляд,
Далеко за горою...

Ах, что ей до парня?
Ей надо героя!

Ноябрь 1939

131. НА ФОЛЬВАРКЕ

«Пан вы старый или паныч,
Ехать в гости глядя на ночь?!
Посудите трошки:

Шляхом — танки, в пуще — пал, [1]
Лошадь встала — пан пропал...»
— «Цыц, ты... хлоп! У князя — бал.
Ставь кобылу в дрожки!»

— «Воля пана... Я могу;
Только где достать дугу:
Без дуги не можно...»

— «Брешешь... бисов ты слуга, —
Нет дуги... а вот дуга!»
— «Зáраз, пан вельможный.

Есть дуга... а где же кнут? ..
Зáраз, пан, я тут как тут:
Кнут возьму в конюшне.

[1] Пал — лесной пожар.

Лезьте в дрожки...»
Пан залез.
Ночь. Темно. Пылает лес.
Торопиться нужно.

Вожжи взял. Да где же кнут?
«Хлоп, скоре-е-е!» — «Пан, я т-у-у-ут...»
— «Где ты есть?»
— «Да вот я!..»

Пан — за кнут. И видит вдруг:
Кто-то лошадь, как гайдук,
Держит за поводья.

«Матка бозка!..[1] Кто вы есть?!»
Командир: «Имею честь...» —
И, к фуражке звездной

Руку вежливо подняв,
Говорит: «Пан... хлопец прав,
В гости ехать поздно».

1939

132. ТРОЙКА

Тройка мчится,
Тройка скачет...

П. Вяземский

Мчится тройка, скачет тройка,
Колокольчик под дугой
Разговаривает бойко.
Светит месяц молодой.

В кошеве широкой тесно;
Как на свадьбе, топоча,
Размахнулась, ходит песня
От плеча и до плеча!

Гармонист и запевала
Держит песню на ремне,

---

[1] Матерь божия (польск.). — *Ред.*

Эта песня побывала
И в станице и в Кремле.

Ветер по снегу елозит:
Закружит — и следу нет,
Но глубокие полозья
Оставляют в сердце след.

Как он близок, как понятен,
Как народ к нему привык,
Звонких песен, ярких пятен
Выразительный язык!

Мчится тройка, смех игривый
По обочинам меча.
Пламенеет в конских гривах
Яркий праздник кумача.

Кто навстречу: волк ли, камень?
Что косится, как дурной,
Половецкими белками
Чистокровный коренной?

Нет, не время нынче волку!
И, не тронув свежий наст,
Волк уходит втихомолку,
Русской песни сторонясь.

А она летит, лихая,
В белоснежные края,
Замирая, затихая,
Будто молодость моя...

1939

133. ПАРУС

Белеет парус одинокий...

М. Лермонтов

За нами — гор безмолвных тыл,
Бездонно море и покато.
И парус вдалеке застыл,
Объятый пламенем заката.

Откуда он? К чему горит?
С чего потупился, краснея?
И любит, но не говорит!
Страдает и сказать не смеет!

Я на язык стараюсь свой
Перевести природы ярость —
Закат над южной синевой
И подожженный солнцем парус.

Затем, что я и сам горю,
И сам над бездною покатой
С девчонкой глупой говорю,
Объятый пафосом заката!

1939

134—135. *СИБИРСКИЕ ПЕСНИ*

1

Ночь темна.
Крепки засовы.
Стережет тюрьму Чека.
Ходит песня часового
Мимо окон Колчака:

«Близко города Тамбова,
Недалёко от села,
Одного, потом другого
Мать братишек родила.

Вместе ели,
Вместе спали,
Вместе маяли беду!
Да... второго расстреляли
В девятнадцатом году.

Я сегодня вспомню, Вася,
Как ты пел
И умирал...

— С добрым утром...
Одевайся...
Собирайся, адмирал!»

Ночь темна.
Крепки засовы.
Стережет тюрьму Чека.
Ходит песня часового
Мимо окон Колчака.

Январь 1935

2

У тюрьмы, за Ушаковкой,
Часовой стоит с винтовкой.

«Как тебе не стыдно, парень,
Партизана сторожить?
Что ты — шкура или барин,
На чужое ловкий жить?

Ты крестьянин,
Я крестьянин.
Вместе ляжем,
Вместе встанем.
Ты — косить,
И я — косить.
Ты не евши —
Я не сыт!

Одного с тобой мы кругу,
Заодно бы нам и жить.
Не пристало нам друг друга
Темной ночью сторожить...»

Часовой глядит печально,
Слезы льются по усам...
«Не могу... убьет начальник...
Служба, парень, знаешь сам».

— «Плюнь на службу, часовой!
Ты, я вижу, парень свой...

Нам рукой подать до дому:
У меня в лесу отряд...
Партизану молодому
Каждый кустик будет рад!»

...У тюрьмы, за Ушаковкой,
Часовой пропал с винтовкой!

А за городом Иркутском
Темный лес кричит совой...
Тихо по лесу крадутся
Арестант и часовой.

1940

136. ИСТРЕБИТЕЛИ

Над мелкой сутолокой улиц,
Стремительно, как мы с тобою,
Два истребителя столкнулись
В жестоком развороте боя.

Короток бой... И на мгновенье, —
Как мы с тобой, — теряя скорость,
Они слились в самозабвенье...
И падают на землю порознь.

... Смотрю и думаю: затем ли
Влекло их вдаль неудержимо,
Чтоб, в небе встретившись, на землю
Упасть, как мы с тобой, чужими...

Январь 1940

137. УТРО

Сквозь морозные ресницы
Утро смотрит на синицу.

На синицу, на березу,
Драгоценную с мороза.

На меня и на поселок
Лесорубов невеселых.

На поселок, где с рассвета
Ни души, должно быть, нету.

Наконец, глядит на гору
От меня верстах в пяти.

И на лыжню, по которой
Так вот молодо и скоро
Я б хотел всю жизнь идти!

Январь 1940

138. СЧАСТЬЕ

Стой-постой, мечта-догадка!
С виду будто нерезва,
А невалко и нешатко
К месту счастья привезла.

Что за счастье, мол, такое?
Не узнал? Да вот оно:
Спит в снегу, глухим покоем
До бровей заметено.

И струится прямо в небо,
Как душа, прозрачный дым:
Не бывал? .. И я, брат, не был,
Но мечтал я молодым...

Но увидеть я не чаял:
Дом в снегу, и на крыльце
Гостя милого встречают
Краской счастья на лице!

Январь 1940

139. О НЕЖНОСТИ

Говорю насмешливо и едко:
«Лучше уходите подобру.
Если вам так хочется, кокетка,
Лирики... извольте, я навру.

Мне, поэту, ничего не стоит.
Только попросите — накручу».
И представьте, с детской простотою
Попросила, говорит: «Хочу».

Стало мне и совестно и жутко,
До чего мы, значит, не нежны,
Если даже как плохая шутка
Наши ласки девушкам нужны!..

Январь 1940

140. СЕДОВЦАМ

Да здравствует солнце,
Да скроется тьма!

А. Пушкин

Да, океаном-нелюдимом
Был Ледовитый океан,
Где льдина стукалась о льдину,
Как о стакан стучит стакан.

Он всех, кто шел к нему на праздник,
Кто из стакана пригубил, —
В своих хоромах непролазных
Коварством Арктики губил.

Но, долгу верные повсюду,
Мы чувства страха лишены.
Гремит ледовая посуда
В холодных залах тишины!

Сдается океан на милость,
Как деспот, потерявший власть;
И там, где злость его дымилась,
Там дружба наша обнялась!

...На днях в Кремле, столы содвинув,
Помянут пленный океан —
Стаканом стукнув о стакан,
Как льдина стукает о льдину...

Январь 1940

141. МОЛИТВА

Если бы ты мне казалась сильной,
Я бы, вспомнив свой гражданский долг,
Написал письмо, послал с посыльным
И подался в пограничный полк.

Если бы ты мне казалась лживой
И писать не стоило б труда,
Я бы с лживой распростился живо,
И не уезжая никуда.

Но стоишь ты предо мной потупясь,
Ничего как будто не тая,
И томит мою мужскую глупость
Кротость всемогущая твоя...

...Я молиться богу не умею,
А молюсь: да будут днесь сильны
Дщери Евы... днесь да поумнеют
Глупые адамовы сыны!

Май 1940

142. ТЕЛЕФОН

Радостный, больной и сонный
Узнаю твой голос сразу;
Говорят, я Эдисону
Этой радостью обязан.

Говорят, одна креолка
Из каких-то Южных Штатов
Неожиданно умолкла...
И понятно, вот тогда-то

Эдисон, больной и сонный,
Говорить заставил провод...

Я, признаться, Эдисону
Приписал любовный повод.

Ты простишь мне эту шалость
И мое желанье,
                    чтобы
Всё великое свершалось
Для любви, а не для злобы...

Сентябрь 1940

143. БРАТСКАЯ МОГИЛА

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать...

А. Пушкин

Славлю смерть у сопки Заозерной!
Ну, а я? Неужто — не в бою?
И не в братскую сойду могилу,
                    а позорно
На отлете где-нибудь сгнию?

Понимаю, что не в этом дело.
Знаю с малых лет, что всё равно,
Так сказать, бесчувственному телу
Истлевать повсюду. Знаю... Но...

Если посудить да разобраться,
Нелегко, товарищи, тому,
Кто боролся на земле за братство,
Под землей остаться одному...

Октябрь 1940

144. КУКЛА

Не удивляться... что за чушь! —
На свете и не то бывает.
Природу взять: зеленый плющ
Холодный мрамор обвивает.

С чего бы зелени, кажись,
Виясь из пустоты расселин,
На эту куклу тратить жизнь!
Но не любовь ли эта зелень?

Любовь. Вот так и я ползу.
Вот так и мы плющом упрямым
Ползем, в зеленую лозу
Холодный одевая мрамор.

Ползем — и счастливы! И лишь
Не могут люди надивиться:
На куклу тратят жизнь?! Нашли ж
Вокруг кого плющом обвиться!..

1940

145. СНЕГУРОЧКА

Любовь моя, снегурочка,
Не стоит горевать!
Ну, что ты плачешь, дурочка,
Что надо умирать?

Умри, умри, не жалуясь...
Играя и шутя,
Тебя лепило, балуясь,
Такое же дитя.

Лепило и не думало,
Что не веселый смех —
Живую душу вдунуло
Оно в холодный снег!

И что, когда откружится
Безумный этот вихрь,
Останется лишь лужица
От радостей твоих...

1940

146. ВОЛКИ

Рассудку здравому не внемля,
Толкуя правду вкривь и вкось,
Фашист глядит на нашу землю,
Как хищный волк глядит на кость.

Ну что ж... Не спорим, слава богу,
Землею край у нас не нищ.
Земли у нас и правда много.
Но есть немного и... кладбищ.

И то, что заживо погнило
И что войной на нас идет,
Кусок земли — свои могилы —
В моей стране всегда найдет!

24 июня 1941

147. НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

«Если бьет себя по бедрам
И вовсю петух горланит,
Это что же, бабка, к вёдру?»
— «Непременно к вёдру, Ваня».

— «Ну, а если, как от боли,
До утра собака выла,
Это, бабка, к смерти, что ли?»
— «Непременно к смерти, милый».

— «То-то, бабка, под Москвою
И поет петух, поди, нам!
То-то выл с такой тоскою
Пес немецкий под Берлином».

6 июля 1941

148. ПЕТЛИЦЫ

Не могли бы вы, сестрица,
Командиру услужить?
Не могли бы вы петлицы
На шинель мою нашить?

Может быть, вдали, в разлуке,
Невзначай взглянув на них,
Я с волненьем вспомню руки,
Нашивавшие мне их.

Сердцу станет так приятно!
...А когда война пройдет,
А когда меня обратно
К вам победа приведет,

Может быть, тогда, сестрица,
Уцелевшие в огне
Эти скромные петлицы
Вам напомнят обо мне...

6 июля 1941

149

Я видел девочку убитую,
Цветы стояли у стола.
С глазами, навсегда закрытыми,
Казалось, девочка спала.

И сон ее, казалось, тонок,
И вся она напряжена,
Как будто что-то ждал ребенок...
Спроси, чего ждала она?

Она ждала, товарищ, вести,
Тобою вырванной в бою, —
О страшной, беспощадной мести
За смерть невинную свою!

8 июля 1941

150. ПЕСЕНКА

Слезы брызнули из глаз,
Покраснела густо:
«Я не так жалею вас,
Как расстаться грустно.

Но останьтесь... и тотчас
Грусть моя убудет,
И не больно мне за вас,
А уж стыдно будет!»

Если любишь — всё равно,
Черен или рус он.
Лишь бы только не одно:
Лишь бы не был трусом...

11 июля 1941

151. НАРОДНЫЙ ФОНД

Ты потому и дорога нам,
Земля, отбитая в бою,
Что нашей кровью чистоганом
Платили мы за жизнь твою.

Не раз над нами смерть витала,
Но твердо бились до конца
Из благородного металла
В борьбе отлитые сердца!

И мы не только труд недельный,
Не только золото и медь —
Как наши предки, крест нательный —
Не станем для тебя жалеть.

Но, если родине угодно,
Мы отдадим и жизнь свою:
Непобедимый фонд народный —
Людей, готовых пасть в бою!

31 июля 1941

152. В САНБАТЕ

На носилках из шинели
Одиноко мне и жутко.
Изумленно шепчут ели:
«Неужели это Уткин?!»

Гимнастерки не по росту
Надо мной глаза склонили...
Удивленно смотрят сестры:
«Уткин, милый... Это вы ли?!»

И опять шинель — как лодка.
Я плыву куда-то... это
Сестры грустные в пилотках
На руках несут поэта!

И от слез теплее глазу.
И тоска меня минует:
Сколько рук прекрасных — сразу —
За одну найти, больную.

16 сентября 1941
Полевой госпиталь

153. КОМСОМОЛЬЦУ

Товарищ, милый, не забудь:
Мы все строители отчасти,
Мы все прокладываем путь
К давно заслуженному счастью.

Но счастье ладится с трудом.
Врагов еще, товарищ, бездна.
И путь, которым мы идем,
Есть путь действительно железный.

Народный фонд

Мы танки и самолёты наши
Земли [illegible] в огне —
Это наши кровью [illegible]
[illegible] за [illegible]

Не раз над нами [illegible]
Мы не отдали до [illegible]
Из [illegible] шинели
В горах [illegible] страна.

И мы не только [illegible]
не только [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] —
Мы наши [illegible] [illegible] [illegible].
Не станем [illegible] [illegible]

Но если Родине угодно —
Мы [illegible] и жизнь [illegible] —
[illegible] фонд народный
[illegible] [illegible] навеки!

31/VII 41.

Но мы опасностью горды.
Мы не изменим нашим целям.
Мы нашу славу и труды,
Как честный хлеб, с народом делим.

И ты таким же твердым будь!
Да будет страх тебе неведом,
Как всем, кто встал на этот путь,
К борьбе ведущий и к победам!

1941

154. МАШИНИСТ

Стук колес и ветра свист,
Мчится поезд — дым по пояс;
Бледен русский машинист,
Он ведет немецкий поезд.

Кровь стучит в его висках,
Мыслей спутался порядок;
В длинном поезде войска
И снаряды... и снаряды!

И шумит родная рожь,
И вопят поля и пустошь:
«Неужели довезешь?
Не допустишь... не допустишь!»

Водокачек кирпичи,
Каждый дом и каждый кустик —
Всё вокруг него кричит:
«Не допустишь... не допустишь!»

За спиной наган врага,
За спиною смерть... так что же!
Жизнь, конечно, дорога,
Но ведь честь еще дороже.

Ветер шепчет: «Погляди,
Высунься в окно по пояс:
Путь закрыт, и впереди
На пути с горючим поезд».

Он с пути не сводит глаз.
Семафор, должно быть, скоро.
Вот зажегся и погас
Глаз кровавый семафора.

Сердце сжалось у него —
Боль последняя, немая.
Немец смотрит на него,
Ничего не понимая.

Но уж поздно понимать!
Стрелки застучали мелко.
«Родина, — он шепчет, — мать. . .» —
И проскакивает стрелку.

Взрыва гром и ветра свист. . .
Ночь встает в огне по пояс;
Гибнет русский машинист,
Гибнет с ним немецкий поезд!

1941

155. ОДНОЙ БОРЬБЕ, ЕДИНОЙ ЦЕЛИ...

Одной борьбе, единой цели
Подчинены мы до конца.
И мы на фронт и тыл не делим
Свои советские сердца.

Профессий мирных больше нету!
Винтовкой, молотом, пером,
Как дело общее, победу
На плечи общие берем. . .

Учись! Работай! Куй! Печатай!
Чтоб и на фронте мирных дел,
Как в битве, никакой пощады
Враг беспощадный не имел!!

1941

156. ПАРТИЗАНСКАЯ ПЕСНЯ

Победа не за нами ли?
Придет пора — и вспашем:
Вы землю только заняли,
Она еще не ваша!

...Крадется поезд —
боязно,
Видать, его колесам,
Им чуется, что поезду
Валяться под откосом.

...Обоз к местечку тянется,
Судить, однако, рано,
Что будет и что станется
С обозом и с охраной.

А всюду, где б вы ни были —
На месте ли, в пути ли, —
Спастись ли вам от гибели,
От наших пуль уйти ли?

С народом, с партизанами
Не сварит немец каши!
Вы землю хоть и заняли,
Земля осталась нашей!

1941

157. СЛАВА РУССКОМУ ШТЫКУ!

Сильна народная натура.
И знал у нас любой малец
Суворовское: пуля — дура,
А штык — известно! — молодец.

Но годы шли... Суровый, смелый
Народ наш многое постиг.
И пуля-дура... поумнела.
— А как же штык?
— А русский штык?

В атаках грозных и суровых
Советский доказал боец,
Что в этой части прав Суворов:
И штык всё так же... молодец!

1941

158. ЧЕМУ НЕ БЫВАТЬ И ЧТО НЕПРЕМЕННО БУДЕТ

Чего никогда не видел?
— Чтоб зрячего вел слепец.
— Чтоб сокола змей обидел.
— Чтоб сдался врагу боец.

Чего никогда не слышал?
— Чтоб лебедем взвился рак.
— Чтоб гусь на охоту вышел.
— Чтоб сладил с народом враг.

Чего не бывало сроду?
Чему никогда не стать?
— Не тронуться Волге вспять.
— Не быть под ярмом народу!

А что непременно будет?
— А быть морозу к зиме.
— А щуке быть на блюде.
— А Гитлеру... быть в земле!

1941

159. ЕСЛИ БУДЕШЬ РАНЕН, МИЛЫЙ, НА ВОЙНЕ...

Если будешь ранен, милый, на войне,
Напиши об этом непременно мне.
Я тебе отвечу
В тот же самый вечер.
Это будет теплый, ласковый ответ:

Мол, проходят раны
Поздно или рано,
А любовь, мой милый, не проходит, нет!

Может быть, изменишь, встретишься
с другой —
И об этом пишут в письмах,
дорогой! —
Напиши... Отвечу...
Ну, не в тот же вечер...
Только будь уверен, что ответ придет:
Мол, и эта рана,
Поздно или рано,
Погрущу, поплачу... все-таки пройдет.

Но в письме не вздумай заикнуться мне
О другой измене — клятве на войне.
Ни в какой я вечер
Трусу не отвечу.
У меня для труса есть один ответ:
Все проходят раны
Поздно или рано,
Но презренье к трусу не проходит, нет!

1941

160. ПЕСНЯ ОБ ОТЦЕ И СЫНЕ

На поле боя в нашем взводе
Я видел храброго бойца.
Потом я видел на заводе
Его усатого отца.

Они запомнились мне оба.
Как храбрый сын его в бою,
Отец в цеху с какой-то злобой
Деталь оттачивал свою.

«Так, дым войны с фабричным дымом
Соединив, — подумал я, —

Становится непобедимой
Простая русская семья!

И надо быть плохим поэтом,
Неверно думать, скверно жить,
Чтобы, увидев их, об этом
Хорошей песни не сложить».

1941

161. БЕЖЕНЦЫ

Вся жизнь на маленьком возке!
Плетутся медленные дроги
По нескончаемой тоске
В закат уткнувшейся дороги.

Воловий стон и плач колес.
Но не могу людей обидеть:
Я не заметил горьких слез,
Мешающих дорогу видеть.

Нет, стиснув зубы, сжавши рот,
Назло и горю и обидам,
Они упрямо шли вперед
С таким невозмутимым видом,

Как будто, издали горя,
Еще невидимая многим,
Ждала их светлая заря,
А не закат в конце дороги.

1941

162. ПЕСНЯ О РОДИНЕ И О МАТЕРИ

Так уж водится, наверно,
Я давно на том стою:
Тот, кто любит мать, наверно,
Любит родину свою!

И в народе неделимо
Счастье радости одной:

Счастье родины любимой,
Счастье матери родной.

И выходит, руку поднял
На твою родную мать,
Кто осмелился сегодня
Счастье родины ломать.

И с таких, как с гадов хищных,
Страшных в подлости своей,
Их поганой кровью взыщут
Миллионы сыновей!

1936, 1941

163. СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Делили радости и беды,
Теперь опять делиться нам,
Опять нелегкий труд победы,
Как хлеб, мы делим пополам.

Опять в шинели и в кожанке,
Как в дни, когда мы брали власть,
На голос родины: «Гражданка!» —
Ты всей душой отозвалась.

Опять, знакомая до боли —
Товарищ, женщина и мать,
Ты, как на бой, выходишь в поле
Плоды бессмертья пожинать.

Спокоен взгляд, уверен голос,
И можно знать уже вперед,
Что ни один созревший колос
От наших дел не пропадет,

Что эти руки не устанут,
Как в поле рожь, косить врага,
Пока в родных полях не встанут
Победы тучные стога.

1941

164. ИЗ ПИСЬМА

> ...Не жаль ни друга, ни жены,
> Мне жаль не самого героя.
>
> *Н. А. Некрасов*

Когда я вижу, как убитый
Сосед мой падает в бою,
Я помню не его обиды,
Я помню про его семью.

Мне представляется невольно
Его обманчивый уют.
...Он мертв уже. Ему не больно,
А их еще... письмом убьют!

Июль — август 1942
Брянский фронт

165. ВРАГАМ!

Носы в лохмотья кутая,
Вы принялись скулить,
На зиму нашу лютую
Хотите всё свалить?

Напрасно! Мы не спутаем
С морозом пулемет.
Не холод вас, а лютая
Вас ненависть гнетет!

С того-то и нерадостный
У вас довольно вид,
Что страх сорокаградусный
Сердца вам леденит.

Вас не мороз преследует —
Чего хитрить-то там! —
За вами гибель следует
На лыжах по пятам.

И нет ни сил, ни золота
От этих непогод;
Теперь в России холодно
Вам будет круглый год!

1942

166. ПРОВОДЫ

Удаляясь быстро-быстро,
Опускался поезд вниз;
Отставая, дым и искры
Вслед за поездом гнались.

Песня слышалась недолго.
И она в конце концов
За шлагбаумом умолкла
Вместе с гомоном бойцов...

Тихо стало на перроне,
Только слух и только взгляд:
Люди слова не проронят,
Только вдаль тепло глядят.

Так тепло глядят и строго
(С теплотой глядишь и ты),
Что бойцам на всю дорогу
Хватит этой теплоты.

1942

167. Я ВИДЕЛ САМ

Я видел сам... Но нет, не верю,
Не верю собственным глазам,
Чтоб то, что я увидел сам,
Свершили люди, а не звери!

Не верю, нет! Но тише, тише...
Я видел сам... Я видел их —
Невинных, мертвых и нагих,
Штыками прóткнутых детишек!

И, как слепой, руками шаря,
Не веря собственным глазам, —
Их матерей в костре пожара,
Товарищи, я видел сам!

Тяжелый сон? Ну нет, едва ли
Приснятся нам такие сны!
...Пилотки сняв, потрясены,
Безмолвно мы вокруг стояли.

Стояли мы, застыв на месте...
И как взлетали к небесам
Слова о беспощадной мести,
Товарищи, я слышал сам!

1942

168. ЕСЛИ Я НЕ ВЕРНУСЬ, ДОРОГАЯ...

Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это — *другая.*
Это значит... сырая земля.

Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с родиной мне.

Только вам я всем сердцем и внемлю,
Только вами и счастлив я был:
Лишь тебя и родимую землю
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.

И доколе дубы-нелюдимы
Надо мной не склонятся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля!

1942

169. ГВАРДЕЙСКИЙ МАРШ

Над родиной грозные тучи,
В огне небосвод голубой.
Приказ командарма получен —
Сегодня, товарищи, в бой!

Оружие ваше проверьте,
Проверьте свинец и сердца:
Готовы ли биться до смерти
И руки и сердце бойца? ..

Молчат патриоты сурово,
И только сердца не молчат:
«Готовы, готовы, готовы! —
Сердца патриотов стучат. —

Мы, честные русские люди,
Мы, храбрая русская рать,
Клянемся, что немец не будет
Родимую землю топтать!»

Сдвигаются брови с угрозой,
Сжимается в ярости рот,
И в бой за родные березы
Бросаются люди вперед!

Летят краснозвездные лавы
Рядами железных колонн,
Лишь стелется по́ ветру слава
Сияньем гвардейских знамен!

1942

170. СТОЮ В СМЯТЕНЬИ У ПОРОГА

Стою в смятеньи у порога
И не могу переступить.
Что мне сказать им. . . ради бога!
С чего начать. . . Как приступить?
Нелегкий труд и в самом деле
Сказать им: «Вы осиротели.

Что ваш любимый сын в бою
Погиб за родину свою.
И что, смертельно ранен,
Меня на поле брани,
Поднявшись из последних сил,
Родным он кланяться просил».
Как в дом войти с такою вестью?
Как бросить бомбу в мирный быт!
Как мне сказать им: «Он убит. . .»
О, если б можно было местью
Такое горе врачевать,
Тогда б я знал, с чего начать!
Я б им сказал: «Прекрасный, смелый,
Увитый славой, как плющом,
Ваш сын погиб за наше дело,
И нами трижды отомщен!»

1942

171—172. *ДВЕ СТАРИННЫЕ РУССКИЕ ПЕСНИ*

1

СОЛДАТСКАЯ

С песней, с дробью барабанною
Мы, друзья, в ряды построимся
И, ступив на поле бранное,
Славной смерти удостоимся.

Подвиг, мужественно пройденный,
Не забудется потомками.
Будет петь веками родина
Нашей славы песни громкие!

. . .Черный ворон в небе кружится,
Нам грозит зрачками тусклыми,
Но испытанное в мужестве
Не поддастся сердце русское.

Наши деды, наши прадеды
Не служили кривде слугами;

Мы земли не ищем краденой,
Чести ищем непоруганной!

Мы на ветер слов не тратили,
Мы клялись родным околицам.
Наши жены, наши матери
За победы наши молятся.

Слово храбрых — слово твердое.
И земли родной не выдадим;
Русских можно видеть мертвыми,
Но рабами их не видели!

С песней, с дробью барабанною
Мы, друзья, в ряды построимся
И, ступив на поле бранное,
Славной смерти удостоимся...

2

КАЗАЧЬЯ

Провожает сына мать
На чужбину воевать:
«В добрый час, счастливый путь...
Да, смотри, не позабудь:
На войне на старика
Не выхватывай клинка.
Нам со старым воевать —
Что чужое воровать».

Провожает сына мать
На чужбину воевать:
«В добрый час, счастливый путь...
Да еще не позабудь:
Баба встретится, сынок,
Не выхватывай клинок.
С глупой бабой воевать —
Что чужое воровать.

Но когда начнется бой
И схлестнется враг с тобой,

Мой наказ тебе таков:
За убитых стариков,
За поруганную честь
Рубани что силы есть.
С лютым зверем воевать —
Только славу добывать!»

1942

173. РАЗЛУКА

На фронт уезжает товарищ,
И друг провожает его.
А собственно, что тут такого?
По правде сказать... ничего.

Обычная сцена разлуки:
Улыбки и слезы родных.
Но кто, интересно, смеется,
А кто опечален из них?

Надолго родных покидая,
И слезы пролить — ничего.
Но весел, представьте, военный,
А грустен товарищ его...

О храбрые русские люди!
Пойдите, осильте вы их:
Они умирают с улыбкой,
Грустят, провожая других.

1942

174. КЛЯТВА

Над свежей могилой героя
Клянутся сурово друзья,
И клятвы сильнее, чем эта,
Придумать, должно быть, нельзя.

Она языком автоматов
Вдоль пыльных шоссе говорит,

Она офицерскою хатой
В ночи партизанской горит!

Как чистое детское сердце,
Слова этой клятвы просты.
Но гнутся под тяжестью слова
И падают в бездну мосты.

И бурно над свежей могилой
В ответ прорастает трава,
Как знак, что становятся жизнью
Суровые клятвы слова.

1942

175. НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Тихий домик над рекою...
Кажется, подать рукою!
А пойти — так далеко,
А пройти — так нелегко,
Нелегко, товарищ.

Сад тенистый, нелюдимый...
Далеко ли до любимой!
А пойти — так далеко,
А обнять — так нелегко,
Нелегко, товарищ.

По-над Доном узкий лог;
В роще ароматной
Немец, сукин сын, залег!
Дай-ка автомат мне!
Я очищу узкий лог,

Чтобы каждый русский мог
К Волге или к Дону,
К милой или к дому —
Земно или водно —
Проходить свободно!

1942

176. КЛЯТВА

Клянусь: назад ни шагу!
Скорей я мертвый сам
На эту землю лягу,
Чем эту землю сдам.

Клянусь, мы будем квиты
С врагом. Даю обет,
Что кровью будут смыты
Следы его побед! ..

А если я нарушу
Ту клятву, что даю,
А если вдруг я струшу
Перед врагом в бою,

Суровой мерой мерьте
Позор моей вины:
Пусть покарает смертью
Меня закон войны!

1942

177. ТОВАРИЩУ БОЙЦУ

Чтоб честным людям не терзаться,
Чтоб небо стало голубей
Над родиной твоей, — мерзавца
Настигни и убей!

Старушка плачет на пороге,
Вернется ль сын любимый к ней.
Кто встал у сына на дороге?
Фашист. И ты его убей!

Вдова в ночи бессонной тужит,
Ребенок на руках у ней.
Кто их лишил отца и мужа?
Фашист. И ты его убей!

Грустит под вишней нелюдимой
Подруга сердца твоего.
Кто разлучил тебя с любимой?
Фашист. И ты убей его!

За черный ужас сел сожженных,
За стаи мертвых голубей,
За то, что плачут наши жены,
Отцы и матери, — убей!

Убей, и станет чист и светел
Родимый край, родная мать.
Убей, чтоб веселились дети,
Чтоб никого уже на свете
Не надо было убивать.

1942

178. ДОПРОС

«Ви стояль на карауле?»
— «Нет».
«Ви пустиль в зольдата пуля?»
— «Нет».
«Ви живете у базара?»
— «Нет».
«Ваш фамилия Назаров?»
— «Нет».
...Три расколотых ореха.
Ночь. Но выстрелам в ответ
Трижды отвечает эхо:
«Нет.
Нет.
Нет!»

1942

179. НА КРЫЛЬЦЕ

Дверь открыта. Дело к ночи.
У подъезда сани.
Медик Эдик просит очень:
«Прокатитесь с нами».

«Не могу я, не могу я,
Лучше не просите.
Лучше девушку другую,
Эдик, пригласите».

Но студент из кожи лезет,
Умоляет Эдик:
«Свежий воздух вам полезен, —
Говорю как медик».

Тронул руку...
«Рук не троньте,
Докторам не верю.
Доктор мой сейчас на фронте...» —
И закрыла двери.

1942

180. В ДОРОГЕ

Ночь, и снег, и путь далек;
На снегу покатом
Только тлеет уголек
Одинокой хаты.

Облака луну таят,
Звезды светят скупо.
Сосны зимние стоят,
Как бойцы в тулупах.

Командир усталый спит,
Не спешит савраска,
Под полозьями скрипит
Русской жизни сказка.

...Поглядишь по сторонам —
Только снег да лыжни.
Но такая сказка нам
Всей дороже жизни!

1942

181

Не забыть мне этой лыжни —
На снегу глубокий след!
У меня иного в жизни
Счастья не было — и нет.

Не поэтому ли, Таня,
Как по лыжне голубой,
Память мчится — не отстанет
Лет пятнадцать за тобой? . .

Говорят, и мне, как многим,
На любовь не повезло:
Счастье было неглубоким,
След разлукой замело.

Ничего, не важно, Таня,
Было счастье или нет:
Память в сердце не устанет
Находить знакомый след.

1942

182. ЗАЗДРАВНАЯ ПЕСНЯ

Что любится, чем дышится,
Душа чем ваша полнится,
То в голосе услышится,
То в песенке припомнится.

А мы споем о родине,
С которой столько связано,
С которой столько пройдено
Хорошего и разного!

Тяжелое — забудется.
Хорошее — останется.
Что с родиною сбудется,
То и с народом станется,

С ее лугами, нивами,
С ее лесами-чащами.
Была б она счастливою,
А мы-то будем счастливы.

И сколько с ней ни пройдено —
Усталыми не скажемся
И песню спеть о родине
С друзьями не откажемся!

1942

183. ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА

Танки!.. Белые халаты...
Полк проходит по деревне.
И, в слезах, у русской хаты
Дед приветствует их древний.

Солнце лица озаряет,
Белый снег вскипает следом,
И танкисты козыряют
Солнцу русскому и деду.

Дед-то, видно, не начитан,
И, в слезах над клюшкой свесясь,
«С Новым годом!» — дед кричит им,
А до *нового*-то... месяц.

1942

184. РОДИНЕ

Не знаю, ей-богу, не знаю,
Но чем-то мне очень близка
И эта вот небыль лесная
Над курной избой лесника,
И эта вот звездная небыль,
С которой я с детства знаком,
Где кровля и синее небо
Связуются тонким дымком!

Бывал я и в Праге и в Польше,
А всё мне казалось: крупней
Граненые звезды и больше
Над родиной милой моей.
И люди, казалось мне, выше:
Красивый народ и большой!
А если кто ростом не вышел —
Красив и прекрасен душой.
...Я помню: морозная чаща,
Дымок к небосводу прирос.
Сверкает хрустальное счастье
Одетых по-царски берез.
И вдруг неожиданно бойко
Взметнулась старинная страсть:
Крылатая русская тройка,
Земли не касаясь, неслась,
Как в детстве далеком!
Как в сказке!
Гармоника... Зубы девчат...
А яркие русские краски
С дуги знаменитой кричат!..
И сразу всё стало ненужным
Душе, умиленной до слез.
Всё... кроме вот этой жемчужной
И царственной дремы берез.
Россия... за малую горстку
Из белого моря снегов
Все прелести жизни заморской
Отдать россиянин готов!
За песню в серебряном поле!
За этот дымок голубой!
За... родинку милую, что ли,
Над вздернутой алой губой!

За взгляд, то веселый, то грустный!
За влажный очей изумруд!
За всё, что, я думаю, русским
Нерусские люди зовут!

<1943>

185. ТЫ ПИШЕШЬ ПИСЬМО МНЕ

На улице полночь. Свеча догорает.
Высокие звезды видны.
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,
В пылающий адрес войны.

Как долго ты пишешь его, дорогая.
Окончишь и примешься вновь.
Зато я уверен: к переднему краю
Прорвется такая любовь!

...Давно мы из дома. Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома — и в дыме войны!

Теплее на фронте от ласковых писем.
Читая, за каждой строкой
Любимую видишь
И родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной...

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.
И время такое придет:
Останутся грусть и разлука за дверью,
А в дом только радость войдет.

И как-нибудь вечером вместе с тобою,
К плечу прижимаясь плечом,
Мы сядем и письма, как летопись боя,
Как хронику чувств, перечтем...

1943

186. ПЕХОТА

Холодный огонь непогоды.
Прожектор уперся в зенит.
Тяжелая обувь похода
По мерзлому грунту звенит.

Натружены до́ крови ноги.
Но только вперед и вперед
Упрямая воля дороги
Солдатскую ярость ведет.

Нет сил с непогодой бороться,
И стужа сердца леденит.
Но сзади глазами сиротства
Вослед им *Россия* глядит.

И глухо седыми ночами
В холодный и мутный простор
Стучит по дорогам молчанья
Солдатских сапог приговор! . .

1943

187. ПЕЙЗАЖ

Полей предвечерняя небыль,
Похода размеренный шаг;
Пыля, пробирается в небо
Войны бесконечный большак.

Белеет старинная церковь
Над тихой и мирной рекой.
На куполе медленно меркнет
Степного заката покой.

Но с мирной природою в споре,
Как грозного времени тень,
Чернеет народное горе
Спаленных войной деревень.

Чернеет и справа и слева. . .
И слышно, как там, впереди,
Огонь орудийного гнева
Гудит у России в груди!

1943

188. ПОСЛЕ БОЯ

Сон короткий после боя
В переполненной избе.
Я укрылся с головою
Нежной мыслью о тебе.

Положил я в изголовье
Сумку верную свою,
Оборвав на полуслове
Пережитое в бою.

И уже через мгновенье —
Ни войны, ни маеты:
В легких тканях сновиденья
Надо мною только ты.

Отступает всё куда-то
(Только ты — и никого!)
Перед крепким сном солдата,
Крепким, как любовь его!

1943

189. СЕСТРА

Когда, упав на поле боя —
И не в стихах, а наяву, —
Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву,

Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра, —
Боль сразу стала не такою:
Не так сильна, не так остра.

Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой,
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой головой!..

1943

190. ПЕСНЯ ЛЕТЧИКА

Два широких, два крыла
    Мчат меня в эфире;
Если б рядом ты была, —
    Было бы четыре.

Но в груди моей поет —
    Слышишь! — песня мести.
Значит, мы идем в полет,
    Дорогая, вместе.

Где же сердцу, не любя,
    Силы взять такие?
Я люблю, люблю тебя,
    Как одно с Россией!

Вас любовь в одно слила.
    И в моем полете
Вы вдвоем, как два крыла,
    В бой меня несете. . .

1943

191. ПОЛТАВА

Полтава, чудный город!
Пусть не был я в нем сроду,
Он всё равно мне дорог,
Как дорог он народу.
Не зря его воспели.

Бесстрашный, он по праву
Стоял у колыбели
Отечественной славы!
Теперь он будет милым,

Родным для нас и близким
Еще и по могилам
На шляхе украинском,

За славный бой у лога,
За бой у переправы,
За Киев, за дорогу
На запад от Полтавы.

1943

192. БЫЛОЕ

Закат. Приднепровские нивы.
Плетутся волы кое-как.
Колеса скрипят. И лениво
Сосет свою люльку чумак.

И вдруг, замахнувшийся было,
Застынет в руке его кнут:
То город, душе его милый,
То Киева главы всплывут!

И, чувству святому внимая,
Слезает с арбы кое-как,
Широкую шляпу снимает
И крестится долго чумак...

1943

193. НА ДНЕПРЕ

Привал у переправы —
Заправка невзначай;
Танкисты всей оравой
Устало пили чай.

Река траву колышет,
Волна о берег бьет.
И вдруг танкисты слышат,
Что девушка поет.

Поет она печально
На правом берегу.
...Бросает чай начальник:
«Гвардейцы... не могу!»

Идет к машине быстро.
Встает за ним народ.
Бросают чай танкисты —
По танкам — и вперед!

Забыли про усталость —
Летят вперед, как вихрь.
...Украйна, им казалось,
Зовет на помощь их.

1943

194. БАЛЛАДА О ЗАСЛОНОВЕ[1] И ЕГО АДЪЮТАНТЕ

Немцы Женьке говорят:
«Где Заслонов? Где отряд?
Говори нам всё подряд,
Слышишь?»
— «Я не знаю...»

— «Где оружие? Где склад?
Скажешь — деньги, шоколад,
Нет — веревка и приклад,
Понял?»
— «Я не знаю...»

Немец курит — Женьку жжет.
Женька терпит, Женька ждет —
Молчит на допросе:
Заслонов не бросит.

...Утро. Площадь. Солнце. Свет.
Виселица. Сельсовет.
Партизан не видно.
Женька думает: «Капут,
Наши, видно, не придут,
Помирать мне, видно».

Вспомнил мать. Отца. Семью.
Сестру дорогую.

---

[1] Константин Заслонов — легендарный командир партизанского отряда, Герой Советского Союза. За голову Заслонова немцы предлагали... промышленное предприятие в Германии.

. . .А палач одну скамью
Ставит на другую.
«Лезь. . .»
— «Ну, всё!» —
И Женька влез.
. . .Сверху небо. Справа — лес.
Грустными глазами
Оглядел он ширь небес,
Поглядел опять на лес,
Поглядел. . . и замер.

Явь ли это, или сон?!
Рожью, полем — с трех сторон —
Мчатся партизаны.
Впереди Заслонов — вскачь.
Ближе. . . ближе!
А палач
Своим делом занят.
Смерил петлю — в самый раз.
Усмехнулся — ждет приказ.
. . .Офицер:
«В последний раз. . .
Где есть партизаны?
Где Заслонов?»

Женька: «Где?
— На земле и на воде.
— И в овсе и в хлебе.
— И в лесу и в небе.
— На гумне и в поле.
— На дворе и в школе.

— В церкви. . . в лодке рыбака.
— В избе за стеною.
— У тебя у дурака
Фрица. . . за спиною!»

Оглянулся фриц и — хлоп,
И упал со стоном:
Прямо с ходу немцу в лоб
Угодил Заслонов.

1943

195. ТОПОЛЯ КИЕВА

Бывало, скажут: Киев —
Пойдут сады, поля.
И встанут — вот такие! —
Гвардейцы-тополя.

Теперь же Киев древний
Без тополей вокруг!
...Казненные деревья
Лежат в пыли без рук.

На мостовых обрывки
Старинных русских книг,
На улицах обрывки
Немецких фраз и крик.

А улицы глухие —
Хоть до утра кричи.
И это — город Киев...
Ну, ладно ж, палачи!

1943

196. ЗАКАТ

На гребень, крутой и покатый,
Закат разгоравшийся лез.
И тихую охру заката
Впитали долина и лес.

У шумного детского сада
Смолкает игра детворы.
Овчина огромного стада,
Цепляясь, сползает с горы.

Успевшая было померкнуть,
Река в небеса потекла,
Старинная белая церковь
Открыла опять купола.

Над светлой вершиной нагорной
Пылал золотистый уют,
Как в кузнице старой над горном,
Где счастье людское куют.

1943

197. СЕМЕЙНОЕ

Камни острые, оскалясь,
Из морской воды торчат.
Волны, к берегу ласкаясь,
Что-то нежное ворчат.

Берег, видимо, не верит.
Волны берегу грозят.
Но отталкивает берег
Волны нежные назад.

Волны с плачем отползают,
Будто жалуясь в тоске.
Отползут... И пена злая
Остается на песке.

1943

198. ФРОНТОВИК

Когда мне писарь литер выдаст,
Я место в поезде займу.
Приеду. С близкими увидясь,
Я всех их крепко обниму.

Помоюсь в бане. Выпью чаю.
Проходит день. За ним — второй.
И вдруг... я дико заскучаю
О нашей жизни фронтовой.

Вокруг покажется всё мелким,
Неинтересным для тебя,
И как-то не в своей тарелке
Я буду чувствовать себя.

Потом, почувствовав усталость,
Начну томиться и вздыхать,
Считая, сколько мне осталось
Еще вот так вот отдыхать.

И, утомясь на самом деле,
С какой-то радостью в груди
До срока ровно за неделю
Я окажусь опять в пути.

...Подходит поезд прямо к Дону.
Отсюда в часть — минутный путь.
Ну вот я, кажется, и дома!
Теперь не грех и отдохнуть...

1943

199

Дни склоняются и меркнут.
Лишь не меркнет боль живая,
Как солдата на поверку,
Юность громко вызывая.

Но в ответ — одно молчанье.
Только сам вздохнешь порою,
Как вздохнет однополчанин
Над могилою героя...

1943

200

На месте, кровью орошенном,
Цветник поднялся полевой.
Цветы и кровь! И сокрушенно
Качает ландыш головой.

Не сокрушайся, ландыш милый, —
Бессмертны славные дела:
Героев кровь и под могилой
Цветами, видно, расцвела.

1943

201. МИХАЙЛОВСКОЕ

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

А. Пушкин

На столе пирог и кружка.
За окном метель метет.
Тихо русская старушка
Песню Пушкину поет.

Сколько раз уж песню эту
Довелось ему слыхать!
Почему ж лица поэта
За ладонью не видать?

Почему глаза он прячет:
Или очи режет свет?
Почему, как мальчик, плачет,
Песню слушая, поэт?

На опущенных ресницах
Слезы видно почему?
Жаль синицы? Жаль девицы?
Или жаль себя ему?

Нет, иная это жалость.
И совсем не оттого
Плачет он и сердце сжалось,
Как от боли, у него.

Жаль напевов этих милых,
С детства близких и родных.
Жаль, что больше он не в силах
Слышать их и верить в них.

Песни жаль! .. И он рукою
Слезы прячет, как дитя.
. . .Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.

1943

202. ЗАТИШЬЕ

Он душу младую
в объятиях нес...

М. Лермонтов

Над землянкой в синей бездне
И покой и тишина.
Орденами всех созвездий
Ночь бойца награждена.

Голосок на левом фланге.
То ли девушка поет,
То ли лермонтовский ангел
Продолжает свой полет.

Вслед за песней выстрел треснет —
Звук оборванной струны.
Это выстрелят по песне
С той, с немецкой стороны.

Голосок на левом фланге
Оборвется, смолкнет вдруг...
Будто лермонтовский ангел
Душу выронит из рук...

1943

203. РУССКАЯ ПЕСНЯ

Не звали нас и не просили,
Мы сами встали и пошли,
Судьбу свою в судьбе России
Глазами сердца мы прочли.

Мы будем жить, как наши предки,
К добру и подвигу спеша:
Свободно жить! Неволи, клетки
Не терпит русская душа.

Над нами ясность небосвода,
Могуч народ и коренаст;
Дубрава, степь... Сама природа
Солдатской чести учит нас!

Мы на свои леса и воды,
Как на своих друзей, глядим.
И благородных чувств природы,
Как дружбы, мы не предадим...

Не рвемся мы в чужие страны.
Но сердцем чистым и простым
Родной земли живые раны
Мы не забудем, не простим.

Недаром так упрямы ноги,
Недаром люди так сильны,
Недаром люди и дороги
На запад так устремлены!

1943

204. РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Русской женщины тихая прелесть,
И откуда ты силы берешь?
Так с тобой до конца и не спелись
Чужеземная мода и ложь.

А гляди: на готовом не нежась,
Соблюла, не утратила ты
Щек своих незаемную свежесть,
Блеск и гордость своей простоты.

А не сдали, склоняясь над делом,
Ни твои ни осанка, ни рост.
И журчит по плечам твоим белым
Золотая поэзия кос.

Если б слово такое имелось —
Передать так, как есть, без затей,
Этот взгляд, эту робкую смелость
Как на тройке летящих бровей!..

Да, не с песней неслась, не на тройке
Красоты твоей русская быль.
Было всё: и больничная койка,
И этапов кандальная пыль,

Казематов подземные своды...
А когда (это помню уж сам)
Бородатые люди свободы
По сибирским скрывались лесам,

На снегу, на серебряном ложе,
Целя в подлую власть Колчака,
Припадала к ружейному ложу
Молодая, от гнева, щека! ..

Но и в белое логово целясь,
Не менялась душа твоих глаз:
Та же тихая русская прелесть
Из-под шапки глядела на нас.

И такой же, во всем обаянье
Самобытной своей красоты,
И сегодня под звуки баяна
Над землянкой склоняешься ты.

Перерывы солдатского боя
Переливами песен полны:
За гармоникой бредят тобою
Загорелые руки войны...

Как же так: и тюремную участь,
И войну, и нужду, может быть,
Глаз твоих голубая живучесть,
Не померкнув, могла победить?!

Не такой ли ты просто породы?
Не таких ли ты просто кровей?
Уже не в недрах ли русских — природа
Неподкрашенной силы твоей?

Не одна ли роса оросила
И тебя, и родные края?
И, как самое имя «Россия»,
Не извечна ли прелесть твоя?

1943

205. ГОРОД

> Москва... как много в этом звуке
> Для сердца русского слилось!
>
> *А. Пушкин*

Вот он, древний, родной и великий,
В эту зимнюю ночь — нелюдим!
Над трубою фабричною лихо,
По-гусарски закрученный дым.

Колокольни Ивановой каска
И под снегом, как будто дремля,
До бровей заметенная сказка —
Златоглавая сказка Кремля.

Сколько мыслей, и чувств, и волнений
Вызывает в душе этот вид!
Небо, влажное от умиленья,
Как художник, на город глядит.

Но и небо мне кажется тусклым:
Эту славных веков благодать
Можно только, пожалуй, на *русском*,
На родном языке передать!

1943

206. МОСКВЕ

Немало в столице я прожил,
И трудно тебя мне узнать!
Ты стала красивей и строже,
Как смерть повидавшая мать.

В глазах еще отзвуки боли,
Суровый излом у бровей;
Но веет и силой и волей
От русской печали твоей.

Скупей на слова и в нарядах,
Ты стала щедрей на дела;
Ты строгий, хозяйка, порядок
В квартире своей навела!

Как будто за каждой вещицей,
Тобою упущенной, вдруг
Мог снова ожить, притаиться
Тобой пережитый недуг.

1943

207. 19 ДЕКАБРЯ 1943

В бурке черной и крылатой,
Как и прежде впереди,
Генерал-майор Доватор, —
В эту горестную дату
Ты у гвардии — в груди.

Мы тебя не только помним,
Мы в боях твоим путем,
По лесам ли брянским темным,
По тропинкам ли укромным,
В рейд, в разведку — мы идем.

Славы, добытой когда-то,
Корпус твой не растерял.
Боевым путем солдата
Нас ведет, как вел когда-то,
Крюков — храбрый генерал.

Мы проходим. И за нами,
Как орел над головой,
Над днепровскими волнами,
Над десницкими волнами
Вьется шелковое пламя
Нашей славы боевой!

1943

208. ПОСЛУШАЙ МЕНЯ

Послушай меня: я оттуда приехал,
Где, кажется, люди тверды как гранит,
Где гневной России громовое эхо,
Вперед продвигаясь, над миром гремит.

Где слева — окопы, а справа — болота,
Где люди в соседстве воды и гранат
Короткие письма и скромные фото,
Как копии счастья, в планшетах хранят.

Здесь громкие речи, товарищ, не в моде,
Крикливые песни совсем не в ходу,
Любимую песню здесь люди заводят —
Бывает — у смерти самой на виду!

И если тебя у костра попросили
Прочесть, как здесь принято, что-то свое —
Прочти им, без крика, стихи о России,
О чувствах России к солдатам ее,

Как любят их дети, как помнят их жены...
И станут тебе моментально слышны
И снег и деревья — весь слух напряженный
Овеянной стужей лесной тишины.

И как бы при звуках родной им трехрядки,
Словам твоей правды поверив не вдруг,
Веселый огонь молодой переглядки,
Искрясь, облетит их внимательный круг.

И кто-то дровец, оживляясь, подбросит,
И кто-то смущенно оправит ружье,
И кто-то любимую песню запросит,
И кто-то тотчас же затянет ее...

В холодных порядках серебряной чащи
Осыплется пепел с верхушек седых:
Как будто простое солдатское счастье
Горячим дыханьем коснется и их.

А русская песня, что с кривдой не в мире,
Пойдет между тем замирать на лету,
Потом, разрастаясь всё шире и шире,
Как храбрый разведчик, уйдет в темноту.

Январь 1944

209. МОРЯК В КРЫМУ

Моряк вступил на крымский берег —
Легко и весело ему!
Как рад моряк! Он ждал, он верил
И вот дождался: он в Крыму!

В лицо ему пахнуло мятой,
Победой воздух напоен.
И жадно грудью полосатой,
Глаза зажмурив, дышит он.

А южный ветер треплет пряди
Волос, похожих на волну,
И преждевременную гладит
Кудрей моряцких седину.

Как много видел он, как вéдом
Ему боев двухлетний гул!
Но свежим воздухом победы
Сегодня он в Крыму вздохнул.

И автомат, как знамя, вскинув,
Моряк бросается вперед.
— Туда, где флотская святыня!
— Где бой!
— Где Севастополь ждет!!

Апрель 1944

210

Лампы неуверенное пламя.
Непогодь играет на трубе.
Ласковыми, нежными руками
Память прикасается к тебе.

К изголовью тихому постели
Сердце направляет свой полет.
Фронтовая музыка метели
О тебе мне, милая, поет.

Ничего любовь не позабыла,
Прежнему по-прежнему верна:
Ранила ее, но не убила
И не искалечила война.

Помню всё: и голос твой, и руки,
Каждый звук минувших помню дней!
В мягком свете грусти и разлуки
Прошлое дороже и видней.

За войну мы только стали ближе.
Ласковей. Прямей. И оттого
Сквозь метель войны, мой друг, я вижу
Встречи нашей нежной торжество.

Оттого и лампы этой пламя
Для меня так ласково горит.
И метель знакомыми словами
О любви так нежно говорит...

Апрель 1944

211. ВЕСНА В МОСКВЕ

Еще вчера ты видел сам
Зимы холодные приметы,
А нынче взмыла к небесам
Стрижа певучая ракета!

Над древним городом кружа,
Ликует маленькая птица.
И звонкие круги стрижа
Звучат как праздник над столицей.

Как будто, скинув нежный наст
И хлынув в синеву густую,
Природа на день раньше нас
Победу нашу торжествует!..

1944

212

Когда я вижу моряка,
Лицо улыбка озаряет,
И как-то, знаете, рука
Сама собою козыряет.

Сверкает взгляд, свободней грудь,
Как будто вас погладит кто-то,
И как пройти, не козырнуть
Широкоплечей славе флота!

Герой видней издалека —
Мы к ним привыкли,
Свыклись с ними.
Но перед ним еще века,
Как перед чудом, шапку снимут.

Века склонятся перед ним.
А он, веселый, юный, гибкий, —
Он только улыбнется им
И пропадет в толпе с улыбкой.

Между 1941 и 1944

213. МАТЬ СОЛДАТА

...Но где-то есть душа одна,
Она до гроба помнить будет.

Н. А. Некрасов

Кто твое запомнит имя
В этом грохоте миров,
Седенькая героиня
Одиноких вечеров?

С кем в жестоком этом гуле,
С кем, скажи, тебя сравнить?
Горе, что тебя согнуло,
Не смогло тебя сломить!

А в ушах знакомый шепот.
Пишет: был опять в бою. . .
И попробуй тут заштопать
Боль безмерную свою!

Год в разлуке, год не видясь
(Жив ли он? Дождусь ли я?) —
Но ничем себя не выдаст
Скорбь согбенная твоя.

Разве только вздохом слабым
Облегчит немного грудь, —
Всё, в чем Родина могла бы
Мать солдата упрекнуть.

Стань же рядом, рядом с громкой
Славой храбрых сыновей —
Этих доблестных потомков
Скромной храбрости твоей! . .

Между 1941 и 1944

214. КРЕСТЬЯНИН

Какой анекдот нехороший
Недавно случился со мной:
Купил я у цыгана лошадь
И еду спокойно домой.

Навстречу — крестьянин в азяме.
Увидел меня на коне —
Увидел, захлопал глазами,
«Грабитель!» — кричит. И — ко мне.

«Товарищ, я спорить не стану,
Хотя у меня и наган.
Возможно, товарищ крестьянин,
Тебя и ограбил цыган,

Но я, говорю, на толкучке
Купил у цыгана коня —
И, кроме казенной получки,
Забрал он гармонь у меня.

Но что мне гармонь и червонцы!
Другое подумай, отец:
Какой из меня, эскадронца,
Без лошади, к черту, боец?»

. . .Крестьянин подумал немного,
Потом поглядел на меня.
Ударил по крупу коня
И дальше подался дорогой.

215. КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ

Все казаки перед боем
Клятве Родине клялись,
А один стоял, не клялся
И глядел угрюмо вниз.

На лихих коней кубанских
Людям жаловаться — грех:
Лихо мчались в бой казаки,
Но один — быстрее всех.

Не над ним ли в синем небе
Кружит коршун-нелюдим? . .
Все вернулись с поля боя,
Не вернулся лишь один.

Он лежит в степи кубанской,
Очи карие в дыму. . .
Всем казакам храбрым — слава.
Песня — только одному!

216

Над мирным деревянным бытом
Дымится русская зима,
И чем-то близким
И забытым
Душа моя уязвлена.

Смотрю в слезах
На снежный полог,
На свежий след,
На зимний сад,
Где на ресницах хвойных елок
Снежинки радостно блестят.

На синюю тропинку дыма
Смотрю с какой-то болью я...
На всё, что вдаль невозвратимо
Прошло, как молодость моя...

217

На деревья и на зданья
Снег торопится с небес,
Тишиною ожиданья,
Как во сне, охвачен лес...

Что ж, и мне пора ложиться.
Как в лесу, в душе темно,
В голове, как снег, кружится
Грустных дум веретено.

218. МОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Писатель N — известный щеголь,
Одет он с головы до ног,
Как денди, в импортное... Гоголь
Так одеваться бы не мог.

Но скромным людям надо много ль?
Насколько я могу судить,
Писать не может он, как Гоголь,
Но может гоголем ходить.

219. ВЫЖИГИ

> ...над бандой
> поэтических
> рвачей и выжиг...
>
> *Вл. Маяковский*

Хоть бы перепел — в овсе!
Хоть бы свистнул кто бекасом.
Что за чертов хор, где все
Как один гундосят басом?

Да и хор тут ни при чем.
Просто автор бойких строчек,
К кассе рвущийся,
плечом
Оттирает банду прочих.

Как унять крикливых чад?
Напихайте их деньгами!
Пусть нажрутся и молчат.
И тогда... Проснется камень!

И тогда ответит нам
Шумом лес темнобородый,
Залепечет по камням
Ключевой язык природы!..

220. ЛИРИЧЕСКАЯ БАСНЯ

Соловей на ветку сел
И давай — опять о прежнем!
Я и сам собаку съел
На лирическом, на нежном.

А сижу раскрывши рот,
Глупой птице потакая;
Автор, может быть, и врет,
Но ведь песня-то какая!

Бык серьезен, бык молчит.
Ну, а польза-то какая,

Если он и промычит
Правду голосом бугая?

Вы — как знаете, а я —
У меня же свой обычай:
Я же песню соловья
Предпочту всем правдам бычьим!

221. ПЕРВЫЙ СНЕГ

Как на спутниц на живых,
Я любуюсь на березы. . .
В полушалках снеговых
Щеголяют по морозу!

Жаль, что только у меня
Так некстати сердце ноет.
Жаль, что только для меня
Радостно бродить с одною,

С той, что села у огня —
Греет руки, дует губы;
С той, которая меня
И берез моих не любит.

222

Жаловалась: грустно мне, одна я,
Нету сна, и мысли неясны.
Наклонился бы, сказал: «Родная,
Успокойся, — бы сказал, — усни».

Я сказал. Ей стало веселее,
Судя по дыханию груди.
Только освещенные аллеи
Снились ей и кланялись в пути.

Утром встала юная, живая,
Весело глядела на меня,
По-иному всё переживая
В ясном свете солнечного дня.

Не напрасно мы, выходит, славим,
Не напрасно завещали нам:
Сны, которые бы не мешали яви,
Явь, которая бы не мешала снам.

223. ПОСТСКРИПТУМ

Я письмо свое направил
Просто в адрес синевы.
И письмо, согласно правил,
Получили вы.
Увы!
Слишком знают люди почты
Эту тягу к небесам.
Если любишь — любишь то, что
Просто выдумаешь сам...

224. НА ЗАСЕДАНИИ

Сидели. Кричали. Дымили.
И вдруг в телефонную тишь:
«Я очень соскучилась, милый.
Ты долго еще просидишь?»

Он трубку кладет... и, смущенный,
Глядит, улыбаясь, вперед...
«Ну, что там осталось еще нам?»
Но слово никто не берет.

И вдруг замечает начальник
У всех опечаленный вид:
Что всё заседанье печально
Куда-то с улыбкой глядит!

Как будто над скукой блокнотов
Не только ему одному, —
Им всем улыбается кто-то,
Колеблясь в табачном дыму...

225. ЖУРАВЛИ

В синем небе журавли.
Милый, а нельзя ли,
Чтобы эти журавли
Нас с собою взяли?

Мы же с ними заодно
И душой и телом,
И земное нам давно,
Милый, надоело.

Мы, скажи им, чужды лжи,
Мы из их же стаи,
Только крыльев нам, скажи,
Милый, не хватает...

ПОЭМЫ

226. ЯКУТЫ

Г. Ржанову

Доху песцовую тундра надела, —
Время велело надеть.
Поверху — бело,
Понизу — бело,
Бело, как белый медведь.

Лайкой пришибленной каждого лижет,
Гонит мороз в три ноги.
Бросил якут и берданку и лыжи,
Пьет огневое орги. [1]

Ой, ой, морозка,
Черен и бел ты.
Черен, как русский торгаш.
Русский возьмет половину белки,
Ты и хвоста не дашь.

Тощи олени,
Слабей человека.
Шкуру повыели вши.
Как же мне, кыс, [2] из большого наслега
Новые камосы [3] шить?

---

[1] Орги — водка (якутск.).
[2] Кыс — девушка.
[3] Камосы — оленьи сапоги.

Рыжие луны за тундрой потонут,
Глубже упрячется звездный народ.
А к моему худому хатону[1]
Стройная кыс
Ни за что не придет.

Рыжие луны за тундрой потонут,
Бросят олени под сани помет,
В дальний наслег
К огонеру-таену[2]
Стройная кыс, напевая, уйдет...

Соболем бурым дума вертится,
Лапой скребет по груди.
Э-э-э, заходи, человек или птица,
Сам сатана — заходи!..

«Здравствуй, Олеська, охотник хороший,
Глаз твой да будет как нож!
Как поживают
Олени и лошадь?
Сам хорошо ли живешь?»

— «Живы олени и лошади будто,
Только что корм намесил.
Здравствуй, Мисир, инородец безъюртный,
Здравствуй, охотник Мисир.

Пес за хатоном.
Снимай свои лыжи,
Сбрось с опояска ножи.
Греет орги,
Подвигайся поближе,
Длинно про степь расскажи...»

Славно Мисиру
На шкуре мохнатой
Вытеплить зяблые выкрутки рук;
Рыжую гриву огонь волосатый
Чешет на остром ветру...

---

[1] **Хатон** — изба, юрта.
[2] **Таен** — богач.

«Слушай, Олеська,
В степи затаенной
Много творится чудес.
Воют волками собаки-таены,
Стаями тянутся в лес.

Помнишь места, где зимуют медведи, —
С троп, где кочует зверье,
Красный шаман с шайтанятами едет,
Новую веру везет.

Глаз его мудрый
Каждую щелку,
Всякое горе найдет,
Кыс молодую и черную белку
Больше таен никогда не возьмет! ..»

— «Кыс молодую... и черную белку...
Брать у таенов, сказал?» —
Ой, как рассыпались остро и мелко
Вдруг у Олеськи глаза.

...Рыжие луны за тундрой потонут,
Бросят олени под сани помет,
В дальний наслег
К огонеру-таену
Стройная кыс, напевая, уйдет.

Помнит Олеська за битой спиною
Лет многорогий табун.
Где же забыть,
Если осенью ноют
Годы на самом горбу?

Где же забыть,
Если столько таено
То, что нельзя утаить?
О-о, как умеют собаки-таены,
Даже не трогая, бить! ..

Время не вытравит челюстей волчьих,
Годы кровавых рубцов не заткнут, —

Целую ночь над берданою молча
Медные скулы маячил якут...

Вымерли жилы отчаянных речек...
Снежные дали рыхлы и круты.
Утром засветло,
Солнцу навстречу,
Ружья закинув,
Ушли якуты́.

1924

227. ПОВЕСТЬ О РЫЖЕМ МОТЭЛЕ, ГОСПОДИНЕ ИНСПЕКТОРЕ, РАВВИНЕ ИСАЙЕ И КОМИССАРЕ БЛОХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДО БЕЗ ЦАРЯ И НЕМНОГО ПОСЛЕ

И дед и отец работали.
А чем он лучше других?
И маленький рыжий Мотэле
Работал
За двоих.

Чего хотел, не дали.
(Но мечты его с ним!)
Думал учиться в хедере, [1]
А сделали —
Портным.
— Так что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет! —
И он ставил десять заплаток
На один жилет.
И. . .
(Это, правда, давнее,
Но и о давнем
Не умолчишь.)

---

[1] Хедер — школа.

По пятницам
Мотэле давнэл,[1]
А по субботам
Ел фиш.[2]

Жили-были

Сколько домов пройдено,
Столько пройдено стран.
Каждый дом — своя родина,
Свой океан.

И под каждой слабенькой
крышей,
Как она ни слаба, —
Свое счастье,
Свои мыши,
Своя судьба.

И редко,
Очень редко —
Две мыши
На одну щель!

Вот: Мотэле чинит жилетки,
А инспектор
Носит портфель.
И знает каждый по городу
Портняжью нужду одну.
А инспектор имеет
Хорошую бороду
И хорошую
Жену.

По-разному счастье курится,
По-разному —
У разных мест:

[1] Давнэл — молился.
[2] Фиш — рыба.

Мотэле мечтает о курице,
А инспектор
Курицу ест.

Счастье — оно игриво.
Жди и лови.
Вот: Мотэле любит Риву,
Но... у Ривы
Отец — раввин.

А раввин говорит часто
И всегда об одном:
— Ей надо
Большое счастье
И большой
Дом.

Так мало, что сердце воет,
Воет, как паровоз.
Если у Мотэле всё, что большое,
Так это только
Нос.

— Ну, что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет! —
И он ставил заплату
И на брюки,
И на жилет.
. . . .

Да, под каждой слабенькой крышей,
Как она ни слаба, —
Свое счастье, свои мыши,
Своя
Судьба.

И сколько жизнь ни упряма,
Меньше, чем мало — не дать.

И у Мотэле
Была мама,
Еврейская старая мать.

Как у всех, конечно, любима.
(Э-э-э. . . об этом не говорят!)
Она хорошо
Варила цимес
И хорошо
Рожала ребят.
И помнит он годового
И полугодовых. . .

Но Мотэле жил в Кишиневе,
Где много городовых,
Где много молебнов спето
По царской родовой,
Где жил. . . господин. . . инспектор
С красивой бородой. . .

Трудно сказать про омут,
А омут стоит
У рта:
Всего. . .
Два. . .
Погрома. . .
И Мотэле стал
Сирота.

— Так что же?
Прикажете плакать?!
Нет так нет! —
И он ставил заплату
Вместо брюк
На жилет.
. . . .

А дни кто-то вез и вез.
И в небе
Без толку
Висели пуговки звезд

И лунная
Ермолка.
И в сонной, скупой тиши
Мыши пугали скрипом.
И кто-то
Шил
Кому-то
Тахрихим.[1]

«При чем» и «не при чем»

Этот день был таким новым.
Молодым, как заря!
Первый раз тогда в Кишиневе
Пели не про царя!

Таких дней немного,
А как тот — один.
Тогда не пришел в синагогу
Господин
Раввин.

Брюки,
Жилетки,
Смейтесь!
Радуйтесь дню моему:
Гос-по-дин по-лиц-мейстер
Сел
В тюрьму!
Ведь это же очень и очень,
Боже ты мой!

Но почему не хохочет
Господин
Городовой?
Редкое, мудрое слово
Сказал сапожник Илья:

[1] Тахрихим — саван.

— Мотэле, тут ни при чем Егова,
А при чем — ты
И я.

. . . .

И дни затараторили,
Как торговка Мэд.
И евреи спорили:
«Да» или «нет»?
Так открыли многое
Мудрые слова.
Стала синагогою
Любая голова.
Прошлым мало в нынешнем:
Только вой да ной.
«Нет», —
Инспектор вырешил.
«Да», —
Сказал портной.

. . . .

А дни кто-то вез и вез.
И в небе
Без толку
Висели пуговки звезд
И лунная
Ермолка.

И в сонной, скупой тиши
Пес кроворотый лаял.
И кто-то
Крепко
Сшил
Тахрихим
Николаю!

Этот день был таким новым,
Молодым, как заря!
Первый раз тогда в Кишиневе
Пели
Не про царя!

ГЛАВА ВТОРАЯ

КИШИНЕВСКИЕ ЧУДЕСА

Чудо первое

Мэд
На базаре
Волнуется.
И не Мэд,
Весь
Ряд:
На вокзал
По улице
Прошел
Отряд...
Но не к этому
Доводы,
Главное (чтоб он сдох!) —
В отряде
С могендовидом [1]
Мотька
Блох!

Идет по главной улице,
Как генерал на парад.
И Мэд на базаре волнуется,
И волнуется
Весь ряд.

Чудо второе

Каждому, слава богу,
Каким аршином ни мерь, —
Особая дорога,
Особая дверь.
И — так
Себе,

---

[1] Могендовид — иудейский символический знак — шестиконечная звезда.

Понемногу,
В слякоть,
В снег
Идут особой дорогой
Люди весь век.

Радостный путь немногим.
Не всем,
Как компот:
Одни ломают ноги,
Другие —
Наоборот.
Вот!

. . . .

Ветер гнусит у околицы,
Горю раввина вторит.
По торе [1]
Раввин молится,
Гадает раввин
По торе.
Трогает рыжие кончики
Выцветшего
Талэса: [2]
«Скоро ли всё это кончится?
Сколько еще осталося?»

Тени свечей,
Проталкиваясь,
Мутно растут
И стынут.
И кажется
Катафалком
Комната над раввином.

— Это прямо наказанье!
Вы слыхали?

---

[1] Тора — священное писание.
[2] Талэс — молитвенное одеяние.

Хаим Бэз
Делать сыну обрезанье
Отказался
Наотрез.

Первый случай в Кишиневе!
Что придумал, сукин сын?!
Говорит:
— До-воль-но кро-ви,
Ува-жае-мый рав-вин!!!

. . . .

Много дорог, много,
Столько же, сколько глаз!
И от нас
До бога,
Как от бога
До нас.

Еще о первом чуде

И куда они торопятся,
Эти странные часы?
Ой, как
Сердце в них колотится!
Ой, как косы их усы!
Ша!
За вами ведь не гонятся?
Так немножечко назад...
А часы вперед,
Как конница,
Всё летят, летят, летят...

. . . .

В очереди
Люди
Ахают,
Ахают и жмут:

— Почему
Не дают
Сахару?
Сахару почему не дают?

Видимо,
Выдать
Лень ему.
Трудно заняться час?

Такую бы жизнь — Ленину,
Хорошую,
Как у нас!
— Что вы стоите,
Сарра?
Что может дать
Слепой,
Когда
Комиссаром
Какой-то
Портной?
Ему бы чинить
Рубаху,
А он комиссаром
Тут!..

В очереди люди ахают,
Ахают
И жмут.

Чудо третье

Эти дни
Невозможно мудры,
Цадики,[1] а не дни!
В серебро золотые кудлы
Обратили они.
Новости каждый месяц.
Шутка сказать:

[1] Цадики — мудрецы, ученые.

Жена инспектора весит
Уже не семь,
А пять.

А Мотэле?
Вы не смейтесь,
Тоже не пустяк:
Мотэле выбрил пейсы,
Снял лапсердак.

Мотэле весь перекроен
(Попробовал лучший суп!):
Мотэле смотрит
«В корень»
И говорит:
— По су-ще-ству.

Новости каждый месяц,
Шутка сказать:
Жена инспектора весит
Уже не семь,
А пять!

И носик
Почти без пудры.
И глазки —
Не огни...
Эти дни невозможно мудры,
Цадики, а не дни!
. . . .
Много дорог, много,
А не хватает дорог.
И если здесь —
Слава богу,
То где-то —
Не дай бог,
— Ох!

...Ветер стих за околицей,
Прислушиваясь, стих:
Инспектор не о себе молится,

Инспектор молится
О других.
Голос молитвы ровен.
Слово сменяется вздохом:
Дай бог
Жене здоровья,
Дай бог
Хворобы Блоху...
Дай бог то и это.
(Многое дай бог, понятно!)

Дай бог сгореть Советам,
Провалиться депутатам...
Зиму смени
На лето,
Выпрями то,
Что смято...
Дай бог и то и это
(Многое дай бог, понятно!).

Чудо некишиневского масштаба

Слишком шумный и слишком скорый
Этих лет многогамный гвалт.
Ой, не знала, должно быть, тора,
И раввин, должно быть, не знал!
Кто подумал бы,
Кто бы поверил,
Кто поверить бы этому мог?
Перепутались
Мыши, двери,
Перепутались
Нитки дорог.

В сотый век —
И, конечно, не чаще
(Это видел едва ли Ной!)
По-портняжьему
Робко счастье

И, как счастье,
Неробок портной.

Многогамный, премудрый гомон!..
Разве думал инспектор Бобров,
Что когда-нибудь
Без погромов
Проблаженствует Кишинев?!
Кто подумал бы,
Кто бы поверил,
Кто поверить бы этому мог?
Перепутались
Мыши, двери,
Перепутались
Нитки дорог.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НОВОЕ ВРЕМЯ—НОВЫЕ ПЕСНИ

Синагогальная

В синагоге —
Шум и гам,
Гам и шум!
Все евреи по углам:
— Ш-ша!
— Ш-шу!

Выступает
Рэб Абрум.
В синагоге —
Гам и шум,
Гвалт!

. . . .

Рэб Абрум сказал:
— Бо-же мой! —
Евреи сказали:
— Беда! —

Рэб Абрум сказал:
— До-жи-ли! —
Евреи сказали:
— Да.

. . . .

А раввин сидел
И охал
Тихо, скромно,
А потом сказал:
— Пло-ха! —
Сказал и вспомнил
Блоха.

Почти свадебная

Лебедю в осень снится
Зелень озерных мест,
Тот, кто попробовал птицы,
Мясо не очень ест.
Мудрый раввин Исайя
Так мудр!
Так мудр!
Почти
Наизусть знает
Почти
Весь Талмуд.
Но выглядит все-таки плохо:
Щукой на мели...
— Мне к комиссару Блоху... —
Его провели.

Надо куда-то деться:
— К черту!
— К небесам!

— До вас небольшое дельце,
Товарищ комиссар.
У каждого еврея
Должны дочери быть.

И каждому еврею
Надо скорее
Своих
Дочерей сбыть...
Вы — мужчина красивый,
Скажемте:
Зять как зять.
Так почему моей Ривы
Вам бы
Не взять?
Отцу хвалить не годится,
Но, другим не в укор,
Скажу:
Моя девица —
Девица до сих пор.

Белая, белая сажица!
Майский мороз!
Раввину уже кажется,
Что у Блоха...
Короче нос?!

Песня «текущих дел»

И куда они торопятся,
Эти странные часы?
Ой, как сердце в них колотится!
Ой, как косы их усы!
Ша!
За вами ведь не гонятся!
Так немножечко назад...
А часы вперед, как конница,
Всё летят.

. . . .

Этот день был
Небесным громом,
Сотрясеньем твердынь!
Мэд видала,
Как вышел из дому
Инспектор — без бороды?!

— Выбрился,
Честное слово! —
Тысяча слов!
И ахал в Кишиневе
Весь Кишинев.

И собаки умеют плакать,
Плакать, как плачем мы.
Ну, попробуйте, скажем, лапу
Ударить, ущемить?
Да, бывает —
Собака плачет.
А что же тогда человек?
И много текло горячих,
Горьких, соленых рек.

Слезы не в пользу глазу.
И человек сказал:
— Н-ну! —
Так инспектор потерял сразу
И бороду
И жену.

Хоть жену не совсем утратил,
Но курица стала не та.
Ну, скажем,
Стала его Катя
Курица без хвоста.
— Счастье — оно игриво.
Счастье — сумасброд.
И ждал он терпеливо:
— Наверно, назад придет.

Но... на морозе голого
Долго не греет дым...
И он опустил голову,
Голову без бороды.

Так, окончательно сломан,
Робок, как никогда,

Инспектор
Пришел к портному,
Чтобы сказать:
«Да».

. . . .

Маленький, жиденький столик.
(Ножка когда-то была.)
Инспектор сидит и колет
«Текущие дела».

Путь секретарский тяжек:
Столько серьезных слов!
Сто-лько се-рьез-ных бу-ма-жек!
И на каждой:
«Блох», «Бобров».

Жутко: контроль на контроле.
Комиссия вот была...
Инспектор сидит и колет
«Текущие дела».
И... он мечтает — не больше
(Что же осталось ему?),
Как бы попасть
В Польшу
И не попасть
В тюрьму...

В общем фокусе

Что значит:
Хочет человек?
Как будто дело в человеке!
Мы все, конечно, целый век
Желаем
Золотые реки.
Все жаждем сахар, так сказать,
А получается иначе;
Да, если хочешь
Хохотать,

То непременно
Плачешь.

Но дайте жизни...
Новый век...
Иной утюг,
Иная крыша,
И тот же самый человек
Вам будет
На голову выше.

Для птицы главное — гнездо.
Под солнцем всякий угол светел.
Вот Мотэле —
Он «от» и «до»
Сидит в сердитом
Кабинете.
Сидит как первый человек.
И «нет так нет»
Здесь не услышишь.
В чем фокус? Тайна?..
Новый век.
Иной утюг,
Иная крыша...

О-о-о, время!
Плохо... Хорошо...
Оно и так
И этак вертит.
И если новым
Срок пришел,
То, значит, старым —
Время смерти!

Погребальная

Комната... тихо... пыльно.
Комната... вечер... синь.
Динькает
Будильник:

Динь...
Динь...
Динь...

Час кончины —
Он приходит
Тихо-тихо,
Не услышишь.
И уходит молча счастье,
И уходят
Мыши.
Только горе неизменно.
Заржавел пасхальный чайник!

И задумаются стены.
И —
Молчанье.
Он заснежит, он завьюжит
В полночь, ветер белорукий...
И совсем теперь не нужен
Ни Талмуд,
Ни брюки.
Тихо.
Сумрак нависает.
Не молитва
И не ужин...
Пусть по-новому, Исайя,
Стол тебе послужит.
А потом — к иному краю,
В рай, конечно, не иначе...

Тихо!
Свечи догорают.
Тихо.
Сарра плачет...

О-о-о, время!
«Плохо»... «Хорошо»...
Оно и так
И этак вертит.

И если новым
Срок пришел,
То, значит, старым —
Время смерти...
Да, если новым срок пришел,
То, значит, старым —
Фэртиг...[1]

ПОСЛЕСЛОВИЕ

До Кракова —
Ровно сорок,
И до Варшавы —
Сорок.
Но лучше, чем всякий город,
Свой, родной город.
Разве дворцом сломите
Маленькие заплатанные,
Знаете, домики,
Где смеялись и плакали?
Вот вам
И меньше и больше.
Каждому свой мессия!
Инспектору
Нужно Польшу,
Портному —
Россия.

Сколько с ней было пройдено,
Будет еще пройдено!
Милая, светлая родина,
Свободная родина!
Золото хуже меди,
Если рукам верите...
И Мотэле
Не уедет,

---

[1] Фэртиг — готово, конец.

И даже
В Америку.

Не-ет, он шагал недаром
В ногу с тревожным веком.
И пусть он — не комиссаром,
Достаточно —
Че-ло-ве-ком!
Можно и без галопа
К месту приехать:
И Мотэле будет штопать
Наши прорехи.
. . . .

Милая, светлая родина,
Свободная родина!
Сколько с ней было пройдено,
Будет еще пройдено!!!

1924—1925
Иркутск — Москва

228. ДВАДЦАТЫЙ

(Из поэмы)

1. ЗАКАТ

К нам
Закат стекает
Полянами крыш.
Влажно засверкает
Зеленая тишь.

А потом
Красиво,
Ниже и вперед, —
Золотым разливом
Медленно пойдет.

Голубясь и тлея,
Перельется вниз
И заголубеет
Дремлющий
Карниз.

А когда
Он, розов,
Задрожит светло —
Разразится
Бронзой
В столовой
Стекло.

И в одно мгновенье
Перекрасив пар,
Медным отраженьем
Вспыхнет самовар.

2. ЧАИШКО

Чем у вас встречают?
Вот у нас — всегда
Золотистым чаем. —
Чудная вода!

И солдату снится:
В одинокий год
Бронзовая птица
Скатертью плывет.

А за нею чашек
Выводок смешной...
Да, вот этим краше
Многим дом родной!

Что ж,
Судьбы не хватит —
Значит, получай
Теплой благодатью
Разговор и чай...

Три столетья с лишком,
Господи спаси,
Кумом и чаишкой
Жили на Руси.

Три столетья ранен
Каждый,
Без войны,
Глупостью герани,
Нежностью жены.

Нас поит
Из крана
Радость не щедро́?
— Подставляй стаканы,
Убирай ведро.

8. ДОМА

И туманом
Белым
Над семейством
Пар...
...— Милый...
Не успела...
Нынче...
На базар...

Ротшильдом
Я не был,
Голод
Я прошел,
Можно и без хлеба
Очень хорошо.

Хуже, если снится
Роскошь тульских щек.
— Что ж,
Налей, сестрица,
Чашечку еще!

Нам с тобою сорок,
Кажется, вдвоем?
Мы еще не скоро,
Черт возьми, умрем!

А судьба
Какая!
Жить,
любить
и петь!

Посмотри, сверкают
Небо,
        стекла,
                медь!

Посмотри, родная:
Небо, стекла, медь!
Хорошо бы, знаешь,
Под гитару
Спеть!

Эти годы
Пели,
Пели для меня
Голосом
Шрапнелей,
Языком огня.

Эти годы слышал,
Как рыдает
Твердь.
Как идет
И дышит,
И бряцает
Смерть!

4. ГИТАРНАЯ

И кричу я старой:
— Матушка, спою,
Принеси гитару
Старую мою!

Я спою,
Сыграю
Песню баррикад,
Ту, что, умирая,
Пел один солдат.

Молодое тело,
Молодость — в глазах,

Пел он,
И горела...
Кровь в его усах.

Умер, служба,
К ночи...
— Баюшки-баю, —
Так и не докончил
Песенку свою.

Я знаю,
Что такое:
«Спокойствие страны!»
Я вижу —
Кровь покоя
И молньи —
Тишины:

За бархатною пылью
Сомнительной нови,
Друзья,
Мы позабыли
Большую дань крови.

Друзья!
Мы помним мало
Вспоившую нас грудь,
Друзья,
Мы славим мало
И тех —
Кто лег, как шпалы,
Под наш железный путь!

По всем
Путям и тропам,
У всех
Морей и рек
Лежит, борьбой растоптан,
Прекрасный человек!

И девушки
Не пели...

И дом родной
Далек:
Лежит он
Под шинелью,
Без шлема
И — сапог...

Отволновались громы,
И вот
Умыты мы —
И пеною черемух,
И нежностью
Жены.

И вот
Мы помним мало
Вспоившую нас грудь,
И вот
Мы славим мало
И тех,
Кто лег, как шпалы,
Под наш железный
Путь!

Но в том
Душа не гибнет,
Кто сердцем
Не остыл,
И эта песня —
Гимном
Великим
И простым!

<1927>

229. «МИЛОЕ ДЕТСТВО»

1

Кто виноват
В этих странностях был:
Пушкин,
Нужда
Или что-то другое,
Но тараканов
Я не любил.
И не любил я
Покоя.

Полная
Ранних обид
И досад,
Жизнь представлялась
Куда аккуратней!
Ладно,
Согласен:
Не райский сад.
Но почему...
Курятник?!

Я понимаю:
На счастье — паи...
Но если день
Начинается розов,

Ах, как прекрасно
Бренчат воробьи
И заливаются
Водовозы!

Я понимаю:
И солнце —
Не мне.
Но если солнце
Врывается резко,
Ах, как прекрасно
На дряхлом окне
Тлеет
Моя занавеска!

И — поразительно:
Чем голубей,
Чем высота
Над окраиной
Чище,
Костя гоняет
Сильней
Голубей
И выразительней
Свищет...

Каждая тварь
По душе,
По крови,
Кто бы он ни был
И что бы он ни был —
Просит
Немного тепла,
И любви,
И голубого,
Хорошего неба...

Пусть
Я не строил,
Пусть
Не садил,

Но полюбил я,
Не скрою,
Крыши чужие,
Чужие сады
И вообще —
Всё чужое.

Правда,
Вначале —
Божиться готов! —
Не допускал я
Духовную грубость.
Ну, там...
Подоишь
Чужих коров
Или яичко срубишь.[1]

Больше любил я
В хорошую звездь
Так,
Чтоб невидим,
И так, чтоб
Неслышим,
Больше любил я
На крышу
Взлезть
И растянуться
По крыше.

Густо взойдет
Небосвод голубой,
Желтые звезды
Рассыплются густо,
И закачается
Над тобой
Многомиллионная
Люстра!

И тишина...
Тишина — кругом,

[1] Украдешь.

Так что уж
Некуда тише.
Только что тополь
Порхнет обшлагом
С левобережья
Крыши.

Это была
Настоящая тишь!
Звезды...
Луна...
И слюни:
Сплюнешь
Легонечко
И лежишь.
Полежишь...
И опять
Сплюнешь.
Как я плевал!
Как я плевал!
Я отдавался
Высокой работе.

Вдруг
Налетает девятый вал
В образе
Тети!

2

Осень — погода сходила с ума:
Ливни,
Распутица,
Скука...
Но скоро
Черные крыши
Покрыла зима
Белым,
Блестящим фарфором.

Клевое времечко, черт подери!
(В детстве декабрь удивительно ласков.)

Клевое дело
С утра
До зари
Нырять на салазках...

Но не дымила
У наших
Труба.
Шубы — нема...
И поник я
Бескрыло.
Надо заметить,
Что мне
Судьба
Шубы
Совсем не скроила.

Но не на всех,
Не на всех,
Не всегда
Дует судьба
Свои толстые
Губы.
Тетя —
К примеру —
Имела — да,
Очень хорьковую
Шубу.

Тетя —
К примеру —
Имела еще...
Тетя имела!..
Тетя имела...
Пару мясницких
Бульонных щек.
Ну,
И мясное дело.

Стал я, понятно,
Моментом богат.
Счастье плашкету

Моментом
Поперло:
Тетина блуза
От горла
До пят.
Дядины брюки
От пят
И до горла.

Можете кушать
И можете пить.
Тут начинается
Мутная ловля.
Тетя решила
Меня
Посвятить
Господу
И торговле.

Начали с бога.
И, надо признать,
Здесь преуспел я
Немного.
Только потом —
Через душу
И мать —
Я дотянулся до бога!

Тетя старалась.
Но бог
Не помог.
И согласитесь сами,
Это — простительно,
Если, как бог,
Скажем,
Владеешь весами.
Тетя
(Божиться, убиться готов!)
Пусть —
Это мертвое,
Пусть —
Это вещи,

Тетя посмотрит...
И крылья весов,
Медные крылья...
Тре-пе-шут!

Да, и толста,
Да, и стара,
А умудрялась
Без всякого бунта
При покупателях
Полтора
Делать из фунта.

Что там —
Седины ученых мужей!
Тут — по призванью,
По сердцу...
К тому же
Тетя однажды
Учила уже
Дядю,
Покойного мужа.

Дядя — однако —
Моментом смекнул;
Дядя взглянул
На науку
Угрюмо.
Тетеньку
Дяденька
Обманул:
Взял
Да и умер.

Что же, я думаю,
Так твою мать!
Что же, скажите,
И мне помирать?
Добре, я думаю,
Добре!
Лучше я тетку угроблю.

8

Время не любит
Сидеть на мели.
Ну, так на стеклах
У тетушки в спальне
Вновь расцвели
И вновь отцвели
Серебряные
Пальмы.

И, начиная о марте
Вранье
И принимаясь
Картавить
И каркать,
На белопером снегу
Воронье
Мечет
Трефовые карты.

— Картам не верю!
И в карты, кажись,
Стал я проигрываться
С пеленок.
Жизнь —
Это шулер.
Подлая жизнь
Любит играть
На крапленых.

Картам не верю!
И верить нельзя:
Проигрыш — в доску,
А выигрыш — зерны;
В жизни,
Мои дорогие друзья,
Надо уметь
Передернуть.
В жизни,
Мои дорогие, всем
Надо прижуливать малость!

Чтобы по банку
Пятнадцать и семь...
Двадцать один
Получалось!
. . . .

Эту главу
Загибаю на ах!
В дребезгах
Снега,
В облаке
Пара
Даму в ротонде,
Даму в мехах
Прет, задыхаясь,
Седая
Пара!

В городе —
Визг,
В городе —
Вой.
На перекрестке
Акцизному
Жутко!
И козыряет городовой
У полосатой
Будки.

И поднимает
Усатый мент [1]
Лапу,
Как заячью лапку...
Кони — секунда,
Кони — момент —
Прямо
На тетину лавку.

Сам — име-нин-ник!
А генерал

---

[1] Мент — полицейский.

Любит покушать
И вкусно
И тонко...
— Нету теленка?!
Черт бы побрал,
Завтра же
Сделать теленка!

— Ах, негодяи!
Подлые, ах!
(Ах, преподобный!
Ах, отче,
Ах, Сергий!) —
Сердится дама.
У дамы в ушах
Бьются
Холодные серьги.

Сердится дама...
А тетя — добра:
— Завтра —
Хоть двести,
Завтра —
Хоть триста!.. —
Из генеральшиного бобра
Прямо на тетю
Сибирские искры.

От генеральши
На улицу — страх!..
В дребезгах
Снега,
В облаке
Пара
Даму в ротонде,
Даму в мехах
Дальше проносит
Седая
Пара!

4

Утром проснулся,
На стеклах — сад.
Солнце,
Узоры
И всякие штуки.
Стой и любуйся!
А тетя — мусат [1]
Мне, понимаете,
В руки.

Дескать, мерзавец,
Всё дрыхнешь
Да ешь,
И никакого толку.
— Чтоб ты сгорел!..
Поднимайся и режь
Для генеральши
Телку.

Глянул я,
Братцы мои,
На зарю:
Утро — богаче Креза!
— Лучше я, тетя,
И верно сгорю,
Чем буду
Телок
Резать.

Костя
И вовсе
Смотрел не туда.
Был мой приятель
Характером резок:
— Телку не стоит,
А тетку — да.

---

[1] Мусат — металлический брус для точки мясницких ножей.

Тетку бы надо
Зарезать.

Тетку бы надо
Сегодня днем
Перевести на ладан...
Да ты не бойся:
Мы только пугнем.
— Брешешь!
— В натуре.
— Ну, ладно...

Ладно, я думаю,
Я тебе дам,
Я тебе приготовлю
Триста телят
Для бобровых дам!
Я тебе, тетя милая, дам
Господа
И торговлю...

. . . .
. . . .
. . . .

Только мы — в двери,
А тетка:
— Осел! —
Думаю:
Надо старуху срезать.
— Я на минутку,
Я, тетя, пришел
Вас, между прочим,
Зарезать... —
Сразу заткнулась.
В поджилках — дрожь.
На руки смотрит.
А в правой — нож.

Кинулась к двери,
А Костя — в дверях.

Тоже с пером[1]
И ни слова.
Тетя как взглянет,
Как взвизгнет...
Трах!..
Трах...
И готова.

Ангелы тете
Открыли покой.
Ангелы приняли
Теткину душу.
Господи,
Упокой...
Семипудовую тушу!

Костя стоит
И — ничего.
Руки как руки.
Фигура — прямая.
А я стою
И ничего
Не понимаю.

Странное дело!
Тетке капут.
(Тетя моя умирала редко.)
А канарейки
В клетке
Поют!
Поют и прыгают
В клетке!

А над Иркутском,
С веселой руки
Тете покойной
Давая фору,
Солнце вовсю
Разливает желтки
По снеговому фарфору.

---

[1] С ножом.

И седину
Отряхает сосна.
И ледяные осколки
Повсюду...
Это — весна!
Это весна
Зимнюю
Бьет
Посуду!

Это — рыбалка,
Это — загар,
Значит — рыбалки, и утки, и чайки?!
— Костя, шестай!
Канай на базар!
Тетя, прощайте.

Нате рубаху,
Нате кровать,
Нате... торгуйте сами.
Лучше уж попросту
Воровать,
Чем воровать
С весами...

Солнце встречало.
На желобах
Тлеют сосульки...
Командую:
Сжечь их!
Как запылают,
Как вспыхнут
И — бахх!
По тротуару —
Жемчуг.

И поклонилась
Бродягам сосна.
И зазвенели
Стеклянные груды...
Это — весна!

Это весна
Зимнюю
Бьет
Посуду!

5

Дома — скандал!..
Но знакомый народ
Мать утешал высотой поднебесной:
— Бог не без сердца!
Может, помрет,
А не помрет,
Так повесят...

Только один,
Один человек
С бледным лицом,
С голубыми глазами,
Слезы скрывая,
Не поднял век,
Горе скрывая,
Замер.

— Милая Леля,
Да и для нас
Счастье могло бы
Чуть-чуть покапать!
Но у тебя —
Кроме скромных глаз —
Есть еще...
Папа.

Дом трехэтажный
(Кроме коня,
Кроме пролетки на толстых
шинах!)...
Что трехэтажного
У меня,
Кроме матерщины?

Нет, не с тобой,
Да, не с тобой

Мне эту грустную пристань
Оставить!..

Мудро глядит
Горизонт голубой
Над городской заставой.
— Ой, человек,
Человек молодой,
Что?
И куда?
И доколе?
И покачало седой бородой
Облако
Над раздольем.

Но ни о чем!
Но ни о ком
Этой единственной ночью
Над голубеющим
Колпаком,
Под золотым
Многоточьем!..

— Костя,
Ты чувствуешь:
Ни о ком
Этой единственной
Ночью.
Костя,
Ты понял:
Мы сами — Ралле
Фирма...
И без обманов.
(Если обломится!)

Но в феврале
Вдруг
Загремел Романов.
За Петербургом
Поднялся Урал.
Дальше и больше,
Больше и дальше.

И над Иркутском,
Как зверь, заорал
Сам губернатор!
Сам генерал!
Сам
Генерал генеральшин!

Брызги рванули из-под камней!
— ...Вдрызг укатаю!
Немедленно взяться...
Сукин-просукин!..
Доставить ко мне
Этого мерзавца!!
Тетку ухлопал?!
Подумать — стыд!..
Добрый архаровец,
Добрый!

У генерала — усы,
И блестит,
Как эполеты,
Бобрик.
Он задыхается,
Делая шаг,
Чтобы остановиться,
И эполеты прыгают,
Как
Две недобитые птицы.

И адъютант
К эполетам прижат,
Держится
За аксельбанты.
И аксельбанты
Хрустально дрожат
На голубом
Адъютанте.

И рикошетом
К дворцу,
От дворца

Мечутся полуживые
Городовые без конца,
Городовые,
Городовые!

И кафедральная скала
Гулом доносится дальним...
Слышим,
Залаяли колокола
Эхом
На кафедральном.

Видим:
Иконы подняв,
Как щиты,
Двинулся город по главной...
— Господи... защити,
Не выдавай,
Православный!

«Не выдавай» —
И срываться в момент
(Дескать, догонит милость).
— Дуй!..—
Заворачиваем:
Мент?!
Не обломилось!

Он появился,
Как из воды,
Вырос,
Как неземной:

— Вы — куды?
— Мы — туды.
— Вы — к кому?
— Мы — к нему.
— Значит, никуды?
— Ну ды.
— За-а-а мной!..
. . . .

Белый дворец
Из больших камней.
Медные ручки:
Боязно взяться!..
«Сукин-просукин...
Ко мне... мерзавца!»

На губернаторе
Синий сюртук.
По сюртуку —
Горизонт из медалей.
— Здравствуйте,
Здравствуйте, милый друг!
Давно, — говорит, —
Не видались.

Старый барон
Генерально суров.
Главное — глазки:
Не смотрит, а греет!
— Ну-с, — говорит, —
Ты — из жидов?
— Нет, — говорю, —
Из евреев.

Кровь ударяет
В затылок ему!
— Власть не приемлешь
С пеленок?!
Сукин-просукин...
А знаешь,
Кому
Предназначался
Теленок?

Знаешь...
Так что же ты,
Спятил с ума?
Вместо теленка...
Кровавая шалость!
— Нет, — говорю, —

Она — сама,
Сама, — говорю, —
Догадалась.

Тут невозможно —
Гремя и трубя,
Рухнула каменоломня...
«Да я тебе-е-е... э!
Да я из тебя... а!»
Дальше — темно.
Не помню.

Помню:
Без шапок
И босиком,
Оба пускаем дрожжи.
Ночь.
И серебряным косяком
Льет полосатый дождик.

Я нажимаю:
— Скорей, скорей,
Или стервятники
Сцапают пташек... —
Тьма.
Над графинами фонарей
Дождь светляками пляшет.

Шлепаем,
Как по морскому дну.
Костя сопит:
— Не могу я...
Дождь понимает:
Мы — в одну,
А он — в другую.

Дождь понимает нас хорошо:
Дальше и тише,
Дальше
И тише...
И вот он

На цыпочках прошел
По самой
Далекой
Крыше.

В синем мундире
И в орденах
Глянуло полуночье...

— Костя, мы живы!
Гуте нахт![1]
Ваше неперескочишь!

6

С детства — романтик,
Я шел,
Как на бал.
Друг был настроен,
Кажется,
Дрянно.
Друг возмущался,
Друг загибал
В господа,
В драбадана.

Друг произнес
Знаменитую речь:
— Гад на гаде,
Два гада — рядом.
Гадов поджечь,
Гадов пожечь,
Будь я
Гадом!

Справа — река.
Над течением бел,

[1] Спокойной ночи.

Пар поднимался
Крылатым и сизым.
А в высоте —
Как открытый,
Горел
Бронзовый механизм.

— Костя, шестай...
Это не Рим.
Цезарь — не ты.
Не трепися впустую.
Город — не знаю,
А мы — *погорим*,[1]
Если к утру
Не плитуем.

Слышишь, отец:
Ни-ка-ко-го огня!
Будет
На радостях
Малохолить...
Костя,
Пойми,
Там у меня
Все-таки...
Леля...

Так, ни о чем,
Так, ни о ком,
Вздыхая попеременно,
Шли на восток,
Шли босиком
Два молодых
Джентльмена.

---

[1] Провалимся, будем арестованы.

7

И вот однажды
(По-моему, в три)
Я это — Костю
Тихонько рукою:
— Костя, шестай,
А ну, посмотри,
Что это там такое?

Мы это —
Серыми повели.
Смотрим,
И, с толку сбиты,
Видим:
Поднялись,
Пошли ковыли,
Взятые
В ступу
Копытом.

Видим:
Пробитая солнцем
До дна,
Пыль и кипит и клубится,
Как на ветру...
А в просветах видна
Рыжая стать кобылицы.

Видим...
И ясное дело —
На ход.
Дескать, не вышло бы плоше.
— Топай! —
И — влево.
А нам — в проход —
Лошадь!

Красные брюки,
Синий мундир,
Солнце лицо озаряет.

Трекаюсь[1] с первого:
— Командир! —
А командир
Козыряет?!

А командир
Отдает нам честь?!
Руку подносит
К фуражке:
— С кем, извините,
Имею честь?.. —
И распускает ряжку.

И рассыпает
Свой рисовый ряд;
Можно сказать,
Как хочет,
Нас покупает...
И весь отряд
За командиром
Хохочет.

Ладно, что я
Не любитель был зря
Переводить красноречья:
Не возмутился.
А друг — в пузыря.
Друг
Разражается
Речью.

Он повторил
Знаменитую речь:
«Гад на гаде,
Два гада — рядом.
Гадов поджечь,
Гадов пожечь,
Будь я
Гадом!»

[1] Догадываюсь.

Словом, кипит,
Как слюна на камне.
Кроет и в душу
И в бога.
А командир,
Нагибаясь ко мне:
— Мало их там
Или много?

А командир говорит:
— Юнкерья,
Много их там
Или мало? —
И как посмотрит:
— Да ты
Ни черта,
Видно, не знаешь, малый?!

Видно, тебя
На великом смотру
Не было, малый,
С нами? .. —
Он говорит мне,
А я всё смотрю
На эскадронное знамя.

Въелся глазами:
Военный атлас
Шелком
И кровью выткан.
Въелся глазами,
Смотрю,
А из глаз
Две серебристые нитки.

Переживаю такую муру
С дрожью,
С ознобом до кости,
Две-три минуты. . .
Да как заору:
— Ко-стя!

Костя, свобода...
Ядри ее мать!!!
И — понимаете —
С пылу
Гоп — к командиру.
И ну обнимать
Под командиром
Кобылу.

Вот было дело!
До глупого рад,
Я одурел, между прочим.
Плачу, смеюся...
А весь отряд
За командиром
Хохочет.

И командир говорит:
— Так и быть,
Топай, парнишка,
За нами.
Будет баклушами
Груши бить! —
И подмигнул
На знамя.

Мол, для других,
Настоящих драк
Нам пригодишься, малый.
— Кстати,
И малый ты не дурак.
Хоть и дурак —
Немалый.

И, собирая свой рисовый ряд,
Вырос в седле,
Как на троне.
Выбрал поводья,
Осел.
И отряд
Тронул.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

8

Ветер мотает
Бурятский ковыль.
И перепуганной птицей
Кверху
Взлетает дорожная пыль,
Вспыхнет
И снова садится.

Мимо идут,
Чередуясь, столбы.
Прямо
Перед глазами
Дым сумасшедший
Встает на дыбы.
Встал
Над Иркутском
И замер.

А в высоте —
Голубой водоем,
Полон до ручки созвездий,
Светит над нами...
Мы едем вдвоем
Передовыми
В разъезде.

Едем.
Понятно, глядим...
А вокруг —
Небо
И всякая травка.
Едем мы,
Едем мы,
Едем...

И вдруг
Пыль вырывается
С тракта!

Восемь копыт
По дороге кипит,
Искрятся...
Искры буквально
Из-под
Сверкающих
Из-под
Копыт,
Как из-под наковальни!

Гудом гудит
Утрамбованный наст,
Стонет.
И, как на ворота,
Пара седых
Налетает на нас,
Резко осаживаясь
С поворота!

Я как увидел,
Аж онемел.
Белый,
Белее мела.
Глянул на Костю —
И Костя
Как мел,
И тоже
Всё онемело.

Оба ни с места.
Стоим.
И вдруг
Затрепетали медали.
Я подъезжаю:
— Здравствуйте, друг!
Давно, генерал,
Не видались.

По генеральше цыганская дрожь
От каблучка
До сережек.
— Господи, — шепчет, —
Ты узнаешь,
Ты узнаешь,
Сережа?

Но генерал
К тарантасу прижат —
Нем,
Как и не было баса!
Вытянул руки,
И руки дрожат
На генеральских лампасах.

— Да не держите
Руки по швам.
Страхи какие на ночь!
Всё.
Остальное доложит вам
Вот —
Константин Иваныч.

Друг в лобовую:
— Попили квас,
Время попробовать
Чаю.
Будьте любезны.
Тетя о вас
Очень скучает...

Я на себя, — говорит. —
Беру
Ваше устроить
Свиданье...

Костя расстегивает кобуру.
Барыня, до свиданья!

9

Дважды мой конь,
Оседая, взыграл.
Даже не пикнув,
Не буркнув,
Лег,
Опрокинулся генерал
Рядом с супругой
На бурку.

Брови, как филин,
Насупил
И спит.
Строгий, лицо неземное.
Я отвернулся.
Вдруг слышу:
Сопит
Костя
За мною.

Я на седле повернулся.
И вот —
Стало в гортани сухо!
Вижу:
Брильянт окровавленный
Рвет
Костя
Из мертвого уха!

Я его было
На бога беру:
— Брось,
Разменяю!.. —
А Костя
Зубы оскалил —
За кобуру,
Злой,
Как собака над костью.

Ужас по мне
Прорастает, как шерсть.

Я подлетаю:
— Поганый,
Брось!!! —
Не бросает.
И все мои шесть
Я по нему
Из нагана...

Дрогнул,
Откинул раскрылия рук.
И, как подстреленный ворон,
Заколесил,
Покатился мой друг
Ахнувшим косогором.

Заколесил,
Повалился у ног.
И над товарищем детства
Встал я, растерян и одинок.
Встал — и не мог
Наглядеться.

Детство мое!
Мой расстрелянный мир!
Милое детство?!

А рядом...
Я оглянулся:
Стоит командир,
Мой командир отряда.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Время шагает
В открытую дверь.
Юность моя —
За горою.
Где отыскать,
Где найти
Теперь

Мне
Моего героя?

Или от пули
Союзных держав
Парень свалился в атаке?
Или, виски
Кулаками зажав,
Учится он
На рабфаке?

Где ты:
В тени
Или на виду?
Умер, старик,
Или дожил?..
Мертвым,
Живым —
Но тебя я найду
И приведу к молодежи.

Пусть, окружив
Белозубой гурьбой,
Друг мой, хороший
И шалый,
Пусть посмеются они
Над тобой
И загрустят — пожалуй.

Пусть
Они скажут,
Прочтя о тебе,
Знавшем и солнце и ливни:
— Как хорошо
Оказаться
В борьбе
Не гимназистом наивным!..

Чтобы действительно
Сладость понять,

Горечи, други,
Попейте!
Надо познать эту жизнь,
Познать
Всю,
До копейки.

1926—1933

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворное наследие Иосифа Уткина в таком объеме издается впервые. Тем не менее довольно значительная часть произведений поэта — художественно невыразительных или недоработанных — осталась за пределами этой книги.

При жизни Уткина вышло около двадцати его стихотворных сборников, в том числе пять изданий «Первой книги стихов», незначительно отличающихся друг от друга по составу. В них вошла примерно половина всего написанного поэтом, поскольку Уткин, как правило, включал в свои сборники почти одни и те же произведения, незначительно обновляя состав. Такое положение, видимо, объясняется тем, что поэт слишком взыскательно относился к своим новым стихотворениям. Публикуя далеко не все из них на страницах периодической печати, он еще меньше включал их в собственные сборники.

С целью выявления стихотворений Уткина, не входивших в прижизненные издания, были обследованы газеты и журналы, в которых печатался поэт, а также изучен его архив, находящийся в Центральном государственном архиве литературы и искусства. [1]

Этот архив сохранился не полностью. Стихотворения, опубликованные при жизни автора, по большей части имеются в нем лишь в виде машинописных копий, иногда — без авторской правки. Далеко не все произведения сохранились в автографах; так, из рукописей поэм уцелела лишь первая часть «Милого детства» (главы 1—6).

По рукописям архива Уткина были уточнены некоторые датировки, например стихотворений «Происшествие», «Посвящение» («Трудно нам с тобой договориться...»), «Телефон» и др. В сохранившихся автографах часто встречаются пометы, отмечающие дни работы поэта над стихотворным текстом. В этих случаях под произведениями указывается дата, округленная до месяца (когда стихотворение создавалось в несколько этапов). Даты без указания месяца в большинстве случаев взяты из сборников и прижизненных публикаций Уткина. В угловые скобки заключены даты первых публикаций, т. е. обозначающие время, не позднее которого написаны произведения. Вопросительным знаком сопровождаются даты предположительные. Стихотворения, время написания которых неясно, помещены в конце первого раздела.

---

[1] При упоминании автографов и других материалов из архива Уткина ссылки на ЦГАЛИ в примечаниях не даются.

Ряд произведений публикуется в настоящем издании впервые, по автографам или машинописи с авторской правкой. Следует при этом оговориться, что в отношении некоторых стихотворений, в особенности лирики военных лет, пока не всегда удавалось окончательно установить, было ли то или другое стихотворение опубликовано. В таких сомнительных случаях обычная в комментариях формула «печ. впервые» отсутствует, а примечания начинаются словами: «Печ. по ...». При подготовке настоящего издания использованы посмертные публикации уткинских произведений, многие из которых были осуществлены Д. Фиксом.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

БР — газета «Бакинский рабочий» (Баку).
ВМ — газета «Вечерняя Москва».
ВТ — газета «Власть труда» (Иркутск).
Зн. — журнал «Знамя».
И — газета «Известия».
Изд. 1944 — Иосиф Уткин, О родине, о дружбе, о любви, М., 1944.
ИС-35 — Иосиф Уткин, Избранные стихи, М., 1935.
ИС-36 — Иосиф Уткин, Избранные стихи, М., 1936.
КЗ — газета «Красная звезда».
КН — журнал «Красная новь» (Москва).
КП — газета «Комсомольская правда».
Л — Иосиф Уткин, Лирика, М., 1939.
ЛГ — «Литературная газета».
ЛЖ — газета «Литература и жизнь».
МГ — журнал «Молодая гвардия».
НМ — журнал «Новый мир».
НРВ — газета Брянского фронта «На разгром врага».
О — журнал «Огонек».
Окт. — журнал «Октябрь».
П — журнал «Прожектор» (Москва).
ПВ — газета «Правда Востока» (Ташкент).
Печ. и рев. — журнал «Печать и революция».
ПКнС — Иосиф Уткин, Первая книга стихов, М.—Л., 1927 (1-е изд.); М., 1931 (5-е изд.).
ПЛ — Иосиф Уткин, Публицистическая лирика, М., 1931.
Пр. — газета «Правда».
РМ — газета «Рабочая Москва».
С — журнал «Смена» (Москва).
С-35 — Иосиф Уткин, Стихи, М., 1935.
С-37 — Иосиф Уткин, Стихи, М., 1937.
С-39 — Иосиф Уткин, Стихи, М., 1939.
СО — журнал «Сибирские огни» (Новосибирск).
Стихи и поэмы — Иосиф Уткин, Стихи и поэмы, М., 1956.
Стихи о войне — Иосиф Уткин, Стихи о войне, М., 1933.
«Стихи о героях» — Иосиф Уткин, Стихи о героях, Ташкент, 1942.
«Фронтовые стихи» — Иосиф Уткин, Фронтовые стихи, Ташкент, 1942.
ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства.
«Я видел сам» — Иосиф Уткин, Я видел сам, М., 1942.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Май. Литературно-художественный сборник «ИЛХО», Иркутск, 1923, с. 25.

2. ВТ, 1923, 12 июня. Датируется по содержанию. В помещенной в том же номере ВТ статье «О беспризорном ребенке» говорилось: «Беспризорные дети — это... наш позор, наша обязанность, наш долг; это тяжелое наследие прошлого надо изжить». *Иерихонскими трубами* — мощным гласом; по библейской легенде, крепостные стены города Иерихона разрушились от звука труб осаждавших его воинов.

3. СО, 1923, № 5—6, с. 98. Печ. по ПКнС (1-е изд.), с. 11.

4. П, 1925, № 14, с. 24. Печ. по изд. 1944, с. 113. Машинопись с правкой — без даты.

5. СО, 1924, № 2, с. 64. Печ. по сб. «Вьюжные дни», изд. 2-е, Новосибирск, 1928, с. 30. Старший *брат* Уткина Александр в 1919 г. был расстрелян белыми. *Британский Лев* — английский герб. *Сагибы* (сахибы) — так называли в Индии европейцев, главным образом англичан.

6. ВТ, 1924, 4 февраля. Печ. по сб. «Ильичу», Иркутск, 1924, с. 14.

7. О, 1924, № 42, с. 1, под загл. «Рассказ партизана». Печ. по изд. 1944, с. 69.

8. П, 1925, № 8, с. 22. Печ. по изд. 1944, с. 79.

9. С, 1925, № 16, с. 10. Печ. по изд. 1944, с. 71.

10. О, 1925, № 2, с. 3. Печ. по С-37, с. 36. Машинопись с правкой — без даты.

11. Сб. «Вьюжные дни», изд. 1-е, Новониколаевск, 1925, с. 23.

12. С, 1925, № 16, с. 10.

13. С, 1925, № 16, с. 10. Печ. по журн. «30 дней», 1927, № 8, с. 33.

14. П, 1925, № 14, с. 1. Печ. по С-39, с. 77. Авторская датировка (1926) ошибочна; она исправлена по первой публикации.

15. О, 1925, № 46, с. 2.

16. П, 1925, № 22, с. 15. Печ. по изд. 1944, с. 115.

17. П, 1925, № 14, с. 24 (первые четыре строфы), под загл. «Эскадрон», полный текст — П, 1925, № 22, с. 14. Печ. по изд. 1944, с. 83. Маяковский полемизировал с «Атакой» в стих. «Долой! За-

падным братьям» (1929): «Поэтами облагороженная война и военщина должна быть поэтом оплевана и развенчана».

18. П, 1925, № 22, с. 15. Печ. по изд. 1944, с. 135. В автографе — помета: «Крым. Гаспра». Маяковский написал пародию на это стих.:

Кружит, вьется ветер старый,
Он влюблен, готов,
Он играет на гитаре
Телеграфных проводов.

Месяц выкруглил колени
Из-под юбки облаков...

(В. Маяковский, Полн. собр. соч., т. 13, М., 1961, с. 149).

19. КП, 1925, 7 ноября. Печ. по ПКнС (5-е изд.), с. 56.

20. П, 1925, № 22, с. 15, с подзаг.: «На стихотворение Голодного „Поэтам Екатеринослава"». Печ. по ИС-35, с. 97.

21. П, 1925, № 22, с. 15, под загл. «Песня о моей песне». Печ. по ПКнС (1-е изд.), с. 79.

22. О, 1926, № 47, с. 6. Печ. по изд. 1944, с. 141.

23. Окт., 1926, № 7—8, с. 168. Печ. по изд. 1944, с. 88.

24. КН, 1926, № 7, с. 119. Печ. по изд. 1944, с. 143.

25. Стихи о войне, с. 16, под загл. «Памяти расстрелянных» и посвящением: «Польским солдатам-комсомольцам». Печ. по сб. «Я видел сам», с. 33. Датируется приблизительно, по стилю и манере письма, со второй половины 20-х гг. сильно изменившихся.

26. КН, 1926, № 7, с. 118.

27. П, 1926, № 15, с. 4. Печ. по изд. 1944, с. 101.

28. НМ, 1927, № 1, с. 47, под загл. «Крымские ночи. Ручей». Печ. по изд. 1944, с. 105.

29. МГ, 1926, № 1, с. 232. Печ. по Л, с. 179. Эпиграф — строки из статьи М. Горького «О пользе грамотности», написанные в защиту стих. Уткина. Горький возражал критику Д. Ханину, опубликовавшему статью («На литературном посту», 1928, № 1) о мелкобуржуазных уклонах в творчестве Уткина, особенно заметно будто бы сказавшихся на «Слове Есенину».

30. П, 1926, № 8, с. 28. Печ. по изд. 1944, с. 81. Маяковский в статье «Как делать стихи», говоря о недостаточно внимательном отношении поэтов к слову, приводил в качестве примера «Курган»

(Полн. собр. соч., т. 12, М., 1959, с. 109). Он же критиковал это стих. в беседе с сотрудником газеты «Эпоха» в 1927 г.: «Ясно видно, что тут <в первой и последней строфах «Кургана»> не иначе как за волосы притягиваются ненужные слова только для того, чтобы получить рифму на «Так же вот!» А потом, как это мило звучит, напоминая русское слово «живот». А дальше еще про лебедя! Ведь он никогда «не придет», так как лебедь большей частью не ходит, а летает или плавает» (там же, с. 487).

31. КП, 1926, 23 мая, под загл. «О дружбе», с посвящением Марковскому, Анисимову, Павлову, с ошибочной, по-видимому, датой: 1925. Печ. и датируется по изд. 1944, с. 142.

32. КП, 1926, 4 июля, под загл. «Стихи красивой девушке». Печ. по ПКнС (5-е изд.), с. 76. А. А. Жаров и А. И. Безыменский откликнулись на это стих. Уткина («Стихи красивой девушке» Жарова и «О девушках» Безыменского см. в КП, 1926, от 11 июля и 20 августа). Маяковский в выступлении на диспуте «Леф или блеф?» 23 марта 1927 г. подверг критике стих. Уткина за небрежность языка: «Когда Уткин пишет стихотворение о лахудре: «Не твоей ли пышной грудью защищали Перекоп?» — ведь это неверно. Почему? Да потому, что мы Перекоп не защищали — Перекоп защищали белогвардейцы, а красные его брали... Он же <Уткин> просто берет веками данное сравнение... выражение, наиболее часто встречающееся, но к факту <оно> не имеет отношения» (Полн. собр. соч., т. 12, М., 1959, с. 337—338).

33. КП, 1926, 27 июля и НМ, 1926, № 8—9, с. 189. Печ. по изд. 1944, с. 90. См. вступ. статью, с. 17. Александр Алексеевич *Жаров* ответил на «Гитару» посвященной Уткину поэмой «Гармонь» (КП, 1926, 1 сентября). *Урга* — старое название Улан-Батора, столицы Монгольской Народной Республики; в 1921 г. Красная Армия при поддержке местного населения изгнала из Монголии войска интервентов, пытавшихся превратить ее в плацдарм для нападения на Советскую Россию.

34—35. О, 1926, № 47, с. 6. *Ай-Петри* — одна из горных вершин в Крыму.

36. ПКнС (1-е изд.), с. 26. Печ. по 5-му изд., с. 21. *Ту-степ* (от англ. two-step — двойной шаг) — европейский танец, популярный в 20-е годы. *Георг V* (1865—1936) — английский король.

37. НМ, 1927, № 1, с. 45 с подзаг. «Вступление к поэме». Печ. по изд. 1944, с. 65. *Веси* — деревни, села.

38. НМ, 1927, № 1, с. 46, с подзаг. «Стихи о европейской войне». Печ. по изд. 1944, с. 86. *Зозуля* Ефим Давыдович (1891—1941) — советский писатель. *Эрзерум* — город в сев. Турции, в период первой мировой войны павший под ударами русских войск. *Курды* — тюркская народность, населяющая небольшими группами Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Турцию и др. страны Востока.

39. Окт., 1927, № 1, с. 52 и С, 1927, № 1, с. 1.

40. П, 1927, № 4, с. 21, под загл. «Песня девушке». Печ. по изд. 1944, с. 108.

41. НМ, 1928, № 1, с. 86. Было написано Уткиным как ответ критикам, усматривавшим «мелкобуржуазные уклоны» в его творчестве. Эпиграф — из стих. Ф. Тютчева «Silentium».

42. ПКнС (1-е изд.), с. 79. Печ. по изд. 1944, с. 153.

43. БР, 1928, 22 мая, под загл. «Весенняя тема», без 4-х последних строф. Печ. по О, 1928, № 29, с. 9.

44. НМ, 1928, № 9, с. 62, под загл. «Лучшему другу». Печ. по С-35, с. 130.

45. О, 1928, № 16, с. 4, под загл. «Октябрьская тема». Печ. по изд. 1944, с. 144. В своих воспоминаниях Уткин передает, как реагировал Маяковский на публикацию стих. «Зима»: «Я прихожу в редакцию <КП>. Маяковский здесь. Он меня встречает мрачно: «— Ну, что это вы, собственно говоря, молодой человек, решили с потомками говорить? Тогда, значит, вы думаете, что вам уже время труды подытожить, боитесь, что потомки вас не оценят, — и начал мне «выкладывать». Я было попробовал отвечать, а потом стал выдыхаться. — Вы понимаете, когда это люди делают? — Причем все время повторял слово «потомки» и бил меня этими «потомками», как молотком, по голове... Потом видит, что я молчу, он вдруг говорит каким-то странным согретым голосом: «А как там у вас насчет сахара?» Я сказал. Он говорит: „А сахар хороший, это я мог бы себе в стакан положить“» («Маяковский и советская литература», М., 1964, с. 280—281).

46. О, 1928, № 50, с. 10. Печ. по изд. 1944, с. 117. *Библейским именем моим.* Иосиф Прекрасный — герой библейской легенды.

47. С-35, с. 90.

48. О, 1929, № 8, с. 3, под загл. «Сверстнику», под рубрикой «Стихи о гражданской войне». Печ. по сб. «Стихи о войне», с. 5. Стих. это Уткин предполагал сделать вступлением к поэме «Милое детство» (см. КП, 1929, 6 апреля), но затем отказался от этого замысла.

49. КП, 1929, 1 декабря. Печ. по КП, 1929, 7 декабря. В КП «Песне» предшествовало авторское примеч.: «На днях мною, наряду с другими товарищами, через «Комсомольскую правду» был получен вызов от Особой Дальневосточной армии написать для наших героических красноармейцев военную песню. В ответ на предложение я дал товарищам обещание немедленно написать песню. Песня мною написана, я помещаю ее в «Комсомольской правде» и вызываю пролетарских молодых композиторов: тт. Давиденко, Шехтера, Чемберджи и Коваля немедленно взяться за текст и оформить его музыкально, чтобы в скором времени через наш скром-

ный труд бойцы Дальневосточной армии могли почувствовать связь с пролетарской художественной общественностью». 7 декабря «Песня» была опубликована с нотами в КП. Музыку написал Н. Чемберджи.

50. МГ, 1930, № 1, с. 77. Датируется, как и №№ 51—53, на основании того, что в декабре 1929 г. Уткин назвал их своими «новыми работами» (КП, 1929, 21 декабря). Стих. это, так же как и № 53, тематически перекликается с поэмой Б. Пастернака «Высокая болезнь» (1924—1928), дополнения к которой были опубликованы в НМ, 1928, № 11. *Шелли писал Неплохо Про этот стон.* Очевидно, речь идет о главном произведении Шелли — поэме «Освобожденный Прометей»; Прометей — символический образ революционера, великого мученика, пострадавшего за свою любовь к людям.

51. МГ, 1930, № 1, с. 78. Печ. по ПЛ, с. 24. Обоснование датировки см. в прим. 50. *Столыпинская труба Расхваливает отрубы.* Имеется в виду аграрная реформа 1906 г., введенная царским министром П. А. Столыпиным, по которой крестьяне получили право выкупа земельных наделов и выхода из общины на так называемые отруба; эта реформа отвечала лишь интересам кулачества. *Трехцветный позор.* Трехцветный флаг — государственный флаг Российской империи.

52. МГ, 1930, № 1, с. 80. О датировке см. прим. 50. *В китайских росчерках грозы.* Имеется в виду начало второй гражданской революционной войны в Китае.

53. МГ, 1930, № 1, с. 81. Печ. по Л, с. 189. См. прим. 50. *Паккарды, Рено* — марки автомобилей. *Глаголом жечь* и т. д. Неточная цитата из стих. Пушкина «Пророк». *«Вороний грай», «Машенька»* — из стих. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай».

54. КП, 1930, 25 апреля, в цикле «Стихи о войне», не полностью. Печ. по сб. «Стихи о войне», с. 39. *Канапе* (франц.) — диван, кушетка. *Столбцы* — город в Белоруссии; до воссоединения Западной Белоруссии с СССР — государственная граница. *Бельведерские беды* — т. е. крах замков и дворцов (от слова «бельведер» — стиль дворцовых построек в XIX — начале XX в.).

55. КП, 1930, 7 ноября, под загл. «О юности, о нас, об Октябре». Печ. по С-35, с. 7. Автограф — без даты. *Кольт* — марка револьвера.

56. РМ, 1930, 23 декабря. *Рябушинский* П. П. (1871—?) — крупный русский банкир и промышленник.

57. РМ, 1930, 17 сентября, с примеч.: «„Песня старого рабочего“ — одна из песен новой пьесы тов. Уткина „Вышка Октября“ (готовящейся к постановке в Большом театре), читанной им вчера ред. активу „Рабочей Москвы“». Печ. по ПЛ, с. 30.

58. О, 1932, № 5, с. 3.

59. «Поэтический сборник», М., 1934, с. 128. Печ. по изд. 1944, с. 150.

60. И. Уткин. Избранные стихи, М., 1933, с. 23. Печ. по кн. «Поэтический сборник», М., 1934, с. 126.

61. Печ. впервые, по датированному автографу. *РАПП* — Российская ассоциация пролетарских писателей (1925—1932); в стих. выражено отрицательное отношение Уткина к политике администрирования, насаждавшейся в РАППе его руководителем Л. Авербахом.

62. СО, 1962, № 3, с. 141. Датированный автограф — с пометой: «Теберда». *Амонаус* — название горной вершины в Теберде.

63. Л., с. 170. Датируется по автографу. Эпиграф — из стих. Гумилева «Рабочий». В одном из автографов две дополнительные строфы, которыми заканчивалось стих.:

Эта пуля мне
Как дата
И как память дорога.
Я носил ее когда-то
В темном дуле
На врага.

Да с годами изменилось
Направление огня.
Пуля-дура закосилась
Темным оком на меня!

64. СО, 1962, № 3, с. 139 (др. ред.), под загл. «Звенья». Печ. по датированному автографу. Одна из ранних редакций имела дополнительную заключительную строфу:

И когда,
Не кончив песнопенья,
Трупом я свалюсь среди других,
Пусть по мне,
Как по одной ступени,
Прогремит победа молодых.

65. Окт., 1935, № 1, с. 108. Автограф — с зачеркнутой датой: «октябрь 1933».

66. Зн., 1934, № 6, с. 30. Печ. по Л, с. 51. В датированном автографе зачеркнуто: «Эпизод».

67. Зн., 1934, № 6, с. 28 и И, 1934, 24 июня. Печ. по сб. «Я видел сам», с. 47.

68. КН, 1935, № 9, с. 63. Печ. по С-35, с. 92.

69. С-35, с. 80. Печ. по С-39, с. 40. *Андреев* Андрей Андреевич (р. 1895) — видный советский партийный и государственный деятель.

70. С-35, с. 66. Печ. по изд. 1944, с. 146.

71. Зн., 1934, № 6, с. 34. Печ. по Л, с. 8. *Японские поезда.* Имеются в виду пограничные конфликты, которые провоцировались японской военщиной в целях экспансий на Севере (против СССР и Монгольской Народной Республики).

72. И, 1934, 18 июня. *Дети Октября* — участники экспедиции парохода «Челюскин», отправленной в августе 1933 г. во главе с О. Ю. Шмидтом. Стих. Уткина, являющееся приветствием героям-челюскинцам, было опубликовано накануне торжественной их встречи в Москве. В архиве Уткина сохранилось незавершенное стих. на ту же тему:

Ни песец там не был и ни заяц, —
Только смерть и лед со всех сторон,
Где прошел на Север, не сдаваясь,
Окруженный смертью батальон!

И в сердцах не потеряет следа,
И всегда останется видна
Северная линия победы —
Та, что этим подвигом проведена.

На сто крат водой не будет смыто
И сто крат оно войдет в века —
Имя ледяного комиссара Шмидта,
Мужественного большевика!

73. И, 1935, 16 января. Печ. по С-39, с. 5. Датируется по автографу. Н. Асеев писал: «„Батя“ — замечательное стихотворение. Это стихотворение хрестоматийно; оно характерно для эпохи гражданской войны более, чем целые тома беллетристики о ней» (ЛГ, 1935, 1 декабря). *Трехлинейное зерно* — т. е. трехлинейные винтовки.

74. Зн., 1934, № 6, с. 32 и И, 1934, 24 июня, без строфы 7. Печ. по изд. 1944, с. 73. Три автографа — без даты. *Микада* — от «микадо»: титул японского императора.

75. КН, 1935, № 9, с. 65. Печ. по С-39, с. 52.

76. И, 1935, 9 марта. Печ. по изд. 1944, с. 129.

77. И, 1934, 12 декабря, под загл. «Китайская стена». Печ. по изд. 1944, с. 121. Два автографа — без даты. Эпиграф — из стих. Н. В. Кукольника «Сомнение». *Китайская стена* — грандиозное сооружение Древнего Китая, воздвигнутое в IV—III вв. до н. э. с целью обороны от северных кочевых народов; до XX в. Великая китайская стена сохранилась отдельными частями.

78. Зн., 1935, № 5, с. 147. *Либкнехт* Карл (1871—1919) — видный деятель германского рабочего движения, один из основателей Коммунистической партии Германии.

79. О, 1963, № 20, с. 24. Печ. по беловому автографу, где дана окончательная редакция. Датируется по автографу.

80. И, 1935, 18 июля, под загл. «Песенка о ресторане «Крит» (Партизанская)». Печ. по С-37, с. 38. Датируется по автографу. *«Крит»* — название ресторана в Иркутске.

81. КН, 1935, № 9, с. 64, под загл. «Московский пейзаж». Печ. по С-39, с. 44.

82. Печ. по С-39, с. 60. Датируется по автографу. Эпиграф — из стихотворения Пушкина «Из Barry Cornwall». *Всех республик, Всех семи.* В 1935 г. СССР составляли семь союзных республик: Российская, Украинская, Белорусская, Закавказская, Узбекская, Таджикская и Туркменская.

83. ИС-36, с. 22. Печ. по изд. 1944, с. 122. Датируется по машинописной копии.

84. ЛЖ, 1962, 19 октября. Датируется по автографам. *Маньчжурка* — сорт махорки.

85. ЛЖ, 1962, 19 октября, без двух последних строф. Печ. по автографу. *Шуя* — река в Костромской области. *Кемь* — река в советской Карелии. *Особая* — Особая Дальневосточная армия.

86. Л, с. 129, с датой: 1936. Датируется по автографам. *Освод* — «Общество спасения на воде», существовавшее в СССР до 1941 г.

87. И. Уткин, Стихотворения и поэмы, М., 1961, с. 169, с ошибочной датой: 1939. Датируется по автографам.

88. ИС-36, с. 28. Печ. по С-39, с. 49. Датируется по автографам. Четыре автографа имеют варианты окончания, в печ. тексте отброшенного:

У меня мороз по коже,
Как подумаю о них.
Ведь глупы? А как похожи —
Господи — на остальных!

Я стоял, как пень на взморье...
В этом лепете двоих

Я узнал и смех и горе
Мук своих
И мук твоих.

Я стоял — один прохожий
Прошептал, глядя на них:
«Как глупы... Но как похожи,
Господи, на остальных!»

«Как (сказал один прохожий)
Эти глупые похожи
На других, на остальных!»

89. ИС-36, с. 26. Печ. по Л., с. 131. Датируется по автографам.

90. С-37, с. 94. Печ. по Л, с. 148. Автограф — без даты. *Патриаршие пруды* — сквер в Москве.

91. С-37, с. 101. Печ. по изд. 1944, с. 111. Ранняя редакция (автограф) имела заключительную строфу, впоследствии отброшенную поэтом:

...Я хотел бы, дорогая,
Жизнь свою прожить любя.
Жить — любить, и, умирая,
Снова вспомнить про тебя!

Положено на музыку В. Кручининым.

92. КН, 1939, № 5—6, с. 188. Печ. по С-39, с. 48.

93. КН, 1935, № 9, с. 63. Датируется, так же как и №№ 95—97, предположительно: на основании того, что записано в одних блокнотах вместе с №№ 87 и 88 и др.

94. И, 1935, 27 марта. Печ. по изд. 1944, с. 119. Одна из ранних редакций (декабрь 1934) имела окончание, от которого поэт отказался. После строфы 5 в машинописной копии было:

Как, однако,
это мелко —
Поднимать любовный гам
И потом,
как эта белка,
Падать замертво
к ногам!

Одиноко жить
на даче,
Чтобы, сердце
раздробя,

Мелкой дробью
                неудачи
Настигала — жизнь
                    тебя!

Или так
        любимой надо,
Надо,
      кутаясь в меха,
Оторачивать наряды
Лестной
        горечью стиха?

Там же было снятое позже посвящение: «Е. Р.» (Елене Раковской, первой жене поэта).

95. «Крокодил», 1935, № 34—35, с. 4. Автограф — в архиве Уткина.

96—97. Печ. по автографам. См. примеч. 93. На том же листе, что стих. № 93, — план неосуществленного стих., близкого к нему по теме: «1. У меня нет денег, но звезды на ладони. 2. У меня нет вина, но есть дивные слова песни. 3. У меня нет дачи, но в придачу к березам обнажаются чудные листы моих книг. 4. У меня нет машины, — но в будущее уезжают на стихах! Дорогая, ты со мной не осталась, ты просчиталась, я богаче на десять лет жизнью и на тысячу лет бессмертьем, ну где же ты... видела, чтобы покинутый был так весел?»

98. О, 1963, № 20, с. 24. Датируется по месту расположения автографа в блокноте, где рядом находится стих. «Ива» (в данный сборник не включено), датированное мартом 1936 г.

99. Печ. впервые по датированному автографу. Из нескольких рукописей одна — под загл. «Стихи от жары».

100. О, 1937, № 24, с. 7. Автограф — на том же листе, что и последняя редакция стих. № 99, чем и определяется датировка.

101. Л, с. 151. Печ. по С-39, с. 54. Датируется по автографам.

102. ЛЖ, 1959, 13 ноября, без строфы 2. Печ. по беловому датированному автографу. *Паккард* — марка легкового автомобиля.

103. Окт., 1937, № 7, с. 101. Печ. по С-39, с. 15. Датируется по автографу. *Таймень* — рыба (лосось).

104. И, 1936, 23 февраля, без предпоследней строфы. Печ. по С-37, с. 104.

105. КН, 1939, № 5—6, с. 188. Печ. по Л, с. 122.

106. Печ. по изд. 1944, с. 149.

107. ИС-36, с. 23. Печ. по изд. 1944, с. 123. *Остоженка* — улица в Москве.

108. Окт., 1937, № 7, с. 101. Печ. по Л, с. 114. Датируется по автографу.

109. КН, 1939, № 5—6, с. 188. Печ. по С-39, с. 58. Датируется по автографу.

110. Л, с. 168.

111. Печ. впервые по датированному автографу. *Пешня* — вид лома.

112. КН, 1939, № 5—6, с. 187. Печ. по изд. 1944, с. 137. Обращено к Ивану Дмитриевичу *Папанину* (р. 1894), полярному исследователю, руководителю научно-исследовательской экспедиции на дрейфующей льдине в Центральной Арктике («Северный полюс») в 1937—1938 гг. Датируется по одному из поздних автографов, из которых сохранилось около десяти.

113. Л, с. 182. Печ. по С-39, с. 67. Датируется по автографам, на одном из них помета: «Ялта».

114. Л, с. 165. Печ. по изд. 1944, с. 139. Датируется по автографу.

115. ЛЖ, 1962, 19 октября. Датируется по автографу.

116. КН, 1939, № 5—6, с.187. Датируется по автографу с пометой: «Барвиха».

117. Л, с. 184. Датируется по автографу.

118. ЛГ, 1938, 30 октября, вместе со стих. других поэтов под общим названием: «Поэты — комсомолу». Написано в качестве приветствия ВЛКСМ в связи с его двадцатилетней годовщиной.

119. Л, с. 123. Печ. по С-39, с. 47.

120. Л, с. 154. Печ. по С-39, с. 59. *Песня про Степана-казака* и т. д. Имеется в виду песня Д. Н. Садовникова «Из-за острова на стрежень...», в основе которой — легенда о потоплении Разиным красавицы персиянки. Ранняя (рукописная) редакция:

Хороша, любима повсеместно
Песня про Степана-казака.
Но одно в ней есть такое место...
Не поднять на песню языка.

Атаман здесь просто безобразен.
Мало что — товарищи и пыл!
Некрасиво в этой песне Разин
С бедной персианкой поступил.

Ну, уйди — никто с тебя не спросит, —
Уплыви стругами на войну...
А то бросить — и не просто бросить,
А ведь — *в набежавшую волну!*

Будь со мной — наверно бы судили,
Мы к поэтам, знаете, строги.
«Посадил? Плыви, родимец! Или
Не сади любовниц на струги!»

Тут и так напраслину возводят,
Напустили кумушки туман,
Будто я с супругой не в разводе,
А в известном роде — атаман.

Всё моя разбойная осанка!
Нет уж, если песня сложена,
Я-то в этой песне персианка,
Атаманом — бывшая жена.

А ведь если правда, без тумана,
Очень многим женам, может быть,
Хочется, как в песне, атаманом —
Ну хотя бы раз один побыть.

Не могу, завидовать не стану,
Что бы это было бы потом —
Сколько бы товарищей Степанов
Оказалось сразу за бортом.

Но у нас не любят произвола.
Есть у нас и совесть и закон.
Старший трудится, ребята ходят в школу,
И сидит убийца под замком.

Почему же, если всё чудесно,
Если в жизни счастье и уют, —
Почему же это люди в песне
Так непозволительно живут?

Нет, друзья! Кого бы ни спроси вы,
Если он законы не забыл, —
Всякий скажет: «Очень некрасиво
Разин с персианкой поступил!»

Освод — см. прим. 86.

121. Стихи и поэмы, с. 150.

122. Л, с. 125. Датируется по автографу.

123. О, 1953, № 20, с. 24. Автограф — на одном листе со стих. 117, что и является основанием предположительной датировки.

124. КН, 1939, № 5—6, с. 190. Печ. по С-39, с. 4. В архиве Уткина более пятнадцати автографов стих. «Свеча» с незначительными разночтениями. Датируется по позднейшему автографу.

125. ЛГ, 1939, 20 февраля. Печ. по изд. 1944, с. 78. Датируется по автографам.

126. Печ. по изд. 1944, с. 127. Датируется по автографу.

127. КН, 1939, № 5—6, с. 188. Печ. по изд. 1944, с. 128, где датировано 1937 г. Датируется по автографу.

128. Печ. впервые по датированному автографу. Один из ранних автографов — под загл. «Воробьевы горы».

129. С-39, с. 50. В архиве Уткина около десяти автографов этого стих. с незначительными разночтениями в начале. Датируется по позднейшему автографу.

130. С-39, с. 56. Печ. по изд. 1944, с. 124. Датируется по автографу. В архиве Уткина — более десяти вариантов этого стих. под загл. «Герой», «Мещанка» и др. Датируется по позднейшему автографу. *Герой Теруэля.* Теруэльская операция — героическая наступательная операция во время республиканской войны в Испании, длившаяся с 15 декабря 1937 г. по 8 января 1938 г.

131. ЛГ, 1939, 15 октября. Печ. по С-39, с. 9. *Фольварк* (польск.) — помещичий хутор.

132. ЛГ, 1939, 31 декабря. Печ. по изд. 1944, с. 14. Эпиграф — из стих. П. А. Вяземского «Тройка». И. Сельвинский писал: «Смело и как бы с вызовом берет он <Уткин> эпиграфом знаменитые строки Вяземского... Соревнование с песней поэта пушкинской школы удалось Уткину на славу... Жаркое дыхание... удаль и какая-то заливистая сила, уносящая душу, как ветер облако, обогатились в этой песне чертами, присущими советскому стиху». «Какой поэт отказался бы подписаться под этими строками?» — пишет дальше Сельвинский, цитируя последнюю строфу (ЛГ, 1944, 2 декабря).

133. ЛЖ, 1962, 19 октября. Эпиграф — из стих. М. Ю. Лермонтова «Парус».

134—135. Первое — КН, 1939, № 5—6, с. 188, в другом цикле «Сибирские песни»; второе — изд. 1944, с. 77. Печ. по изд. 1944, с. 75—77, где из двух стихотворений создан новый цикл. Дата первого стих. (1934) исправлена по машинописи с авт. правкой. Сохранилось др. стихотворение Уткина, близкое к № 134, но с обратной ситуацией — песня поется здесь не советским часовым, а жертвами колчаковского застенка:

Дождь не дождь — штыки косые
Над тюрьмой иркутской льют.
Молча ходят часовые,
Тихо смертники поют:

«На казенную на дачу
Посадил Колчак ребят.
Носят жены передачу,
В окна матери глядят.

Приходите, приходите
Поглядеть последний раз!
Колчако́вские бандиты
Расстреляют ночью нас.

Не обнимут,
Не заплачут.
Вскинут ружья на прицел..,
И не примет передачу
Утром пьяный офицер...»

Дождь не дождь — штыки косые
Над тюрьмой иркутской льют.
Молча ходят часовые,
Тихо смертники поют.

(КН, 1939, № 5—6, с. 188). В автографе дата: 1934. *Ушаковка* — река, протекающая через Иркутск.

136. Печ. впервые по датированному автографу. Сохранилось более пятнадцати автографов; несколько вариантов стих. — под загл. «Воздушный бой», «Парижанке (Жаклине Прево)»; на одном из поздних вариантов — запись: «Вот оно! Сколько мучений!» Ранняя (рукописная) редакция:

Соединяя Север с Югом,
Как будто ласковые братья,
Они торопятся друг к другу
Открыть крылатые объятья.

Слетаются. И на мгновенье,
Как будто страстью накаленных
Два обезумевших влюбленных,
Слетясь, слились в самозабвенье.

Но как мгновенно это пламя!
Уже бессилье их объемлет.
Горят! Расстались. И на землю
Летят пронзенными телами.

В столичной сутолоке улиц
И мы с тобой развили скорость,
Как истребители, столкнулись
И падаем, теряя скорость!

137. Иосиф Уткин, Суровый ветер. Стихи, М., 1950, с. 95. Автограф — в архиве Уткина. Датируется по др. автографам, где стих. озаглавлено: «Лыжное», «На лыжах» и т. п.

138. Печ. впервые по датированному автографу.

139. О, 1956, № 15, с. 13. Автографы — под загл.: «Объяснение», «О ласке». Датируется по автографу.

140. Печ. впервые по автографу. Другие автографы — под загл. «Чародей». Эпиграф — из стих. А. С. Пушкина «Вакхическая песня». *Седовцы* — участники научной экспедиции ледокольного судна «Седов», которое в октябре 1937 г. было затерто льдами в море Лаптевых и превращено в дрейфующую научно-исследовательскую базу. В ноябре 1939 г. ледокол был вынесен дрейфом в пролив между Шпицбергеном и Гренландией, где и был освобожден из ледового плена. Пятнадцать «седовцев» были удостоены звания Героя Советского Союза.

141. «День поэзии», М., 1962, с. 297. Датируется по автографу.

142. Иосиф Уткин, Стихи и поэмы, М., 1956, с. 58, с ошибочной датой: 1926. Печ. и датируется по автографу. В одном из автографов подзаг.: «Выдумка». *Эдисон* Томас Алва (1847—1931) — выдающийся американский электротехник и изобретатель, в частности изобрел фонограф.

143. «Я видел сам», с. 55. Датируется по автографу. Эпиграф — из стих. А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». *Славлю смерть у сопки Заозерной.* Высота Заозерная — место ожесточенных боев советских воинов с японскими захватчиками, вторгшимися в июле — августе 1938 г. на территорию Дальнего Востока в районе озера Хасан; в результате упорных боев интервенты были наголову разбиты.

144. Иосиф Уткин, Стихи и поэмы, М., 1956, с. 168.

145. Изд. 1944, с. 120.

146. ВМ, 1941, 25 июня. Датируется по автографу.

147. Печ. по сб. «Я видел сам», с. 84. Датируется по автографу.

148. ПВ, 1942, 25 января. Печ. по изд. 1944, с. 50. Датируется по автографу.

149. И, 1941, 14 августа, под загл. «Красноармейцу». Печ. по изд. 1944, с. 21. Датируется по автографу. Первой публикации предшествовало: «Изнасилованную и убитую девочку немцы выбросили на помойку... Заметив детей, собиравших в поле цветы, немецкий летчик расстрелял их на бреющем полете (По материалам Информбюро)».

150. КП, 1942, 31 мая. Печ. по сб. «Я видел сам», с. 41. Датируется по автографу.

151. КП, 1941, 2 августа. Печ. по сб. «Фронтовые стихи», с. 6. Датируется по автографу.

152. «Советский воин», 1962, № 18, с. 5. Датируется по автографу.

153. «Московский комсомолец», 1941, 3 августа, под загл. «Комсомольцу-железнодорожнику». Печ. по сб. «Фронтовые стихи», с. 8.

154. И, 1941, 6 августа. Печ. по изд. 1944, с. 29.

155. «Труд», 1941, 18 июля, под загл. «Винтовкой, молотом, пером». Печ. по сб. «Стихи о героях», с. 12.

156. КП, 1941, 17 июля. Печ по сб. «Я видел сам», с. 72.

157. КП, 1941, 10 июля. Печ. по изд. 1944, с. 42. Первой публикации предшествовало: «На днях Энская часть пошла в атаку на превосходящие силы противника. Бой закончился полным разгромом врага. На поле битвы остались 267 убитых и 130 раненых немецких солдат. Боец тов. Довжиков, ворвавшись в группу немецких офицеров, штыком заколол троих, остальные убежали. Младший политрук тов. Петров за несколько минут заколол шестерых фашистских солдат».

158. «Крокодил», 1941, № 14, с. 2, под загл. «Чему никогда не быть и что непременно будет». Печ. по изд. 1944, с. 43.

159. ПВ, 1942, 15 марта. Печ. по изд. 1944, с. 55. Стих. бытовало в качестве популярной песни.

160. КЗ, 1942, 4 июля. Печ. по сб. «Я видел сам», с. 18.

161. Пр., 1942, 7 июля. Печ. по изд. 1944, с. 26. И. Рахтанов, встречавшийся с Уткиным на Брянском фронте в августе 1941 г., вспоминал об обстоятельствах, вызвавших к жизни стих. «Беженцы»: «Дорога была забита бесконечными возками беженцев, что волочились навстречу нам на восток... — Вот смотрите, — сказал Уткин, ... — вся жизнь этих людей уместилась на одном возке. Здесь и бабушка, и внуки, и домашний скарб. И все это движется, уходит от неминуемой смерти. Куда? Каков их путь? Где остановят они свои натруженные ноги? Знают ли они это? Верят ли в остановку? Думаю, что верят. Без веры нельзя идти так спокойно. И если я когда-нибудь напишу о них, именно это отсутствие слез в их глазах я отмечу...» (И. Рахтанов, Военной дорогой. — «Новый мир», 1947, № 5, с. 172).

162—163. Печ. по сб. «Я видел сам», с. 16 и 81. Стих. 162 в ранней редакции было написано еще в 1936 г. Сохранился датированный автограф строфы 1. На той же бумаге и теми же чернилами —

ранний вариант стихотворения под загл. «Песня о матери и о родине». В этой редакции строфы 2—3 и дополнительная 4:

Ни обид у нас,
Ни споров
У страны с народом нет.
Мы друзья. Друзья!
И скоро —
Нашей дружбе двадцать лет.

И для нас неотделимы
Жизнь и счастье ни одной:
Счастье родины любимой,
Счастье матери родной.

Потому сегодня снова
Я могу тебе сказать:
«Будь, как родина, здорова,
Милый мой товарищ мать!»

Строка «Нашей дружбе двадцать лет» (т. е. двадцать лет Октябрю) также подтверждает, что стих. было создано в 1936 г.

164. «Советский воин», 1962, № 18, с. 5. Эпиграф — из стих. Н. А. Некрасова «Внимая ужасам войны...». Датируется по автографу.

165. ПВ, 1942, 1 марта. Печ. по сб. «Я видел сам», с. 9.

166. ПВ, 1942, 1 марта. Печ. по изд. 1944, с. 51.

167. ПВ, 1942, 1 марта. Печ. по изд. 1944, с. 22.

168. ПВ, 1942, 15 марта, с заключительной пятой строфой, в цикле «Письма». Печ. по изд. 1944, с. 57. Последняя строфа в ПВ:

Но вернусь... И на письма отвечу,
Нет, я верю — не дуб в полумгле,
Не разлука, а нежная встреча
Сильных ждет на родимой земле!

169. И, 1942, 21 марта. Печ. по сб. «Фронтовые стихи», с. 3.

170. ПВ, 1942, 10 мая. Печ. по сб. «Я видел сам», с. 60.

171—172. Печ. по сб. «Я видел сам», с. 12—15.

173. КЗ, 1942, 4 июля.

174. Пр., 1942, 7 июля, под рубрикой «Из фронтовой тетради». Печ. по изд. 1944, с. 32.

175. КЗ, 1942, 11 июля. Печ. по изд. 1944, с. 58.

176. Пр., 1942, 3 августа. Печ. по изд. 1944, с. 20.

177. НРВ, 1942, 21 августа и И, 1942, 22 августа. В автографе — помета: «Брянский фронт». В эти же дни Уткин писал с Брянского фронта: «На днях, лежа в засаде, партизаны-разведчики увидели странную картину. Старики, дети, мужчины и женщины шли цепочкой по лесу, глядя себе под ноги. Партизаны остановили эту необыкновенную процессию. «Что вы тут ищете?» — спросили они у людей. «Оружие, — ответили им. — В партизаны хотим идти, а без оружия не берут». ...Нарастает грозный шум древних брянских лесов. Это гул народной ненависти русских людей к иноземным захватчикам» (И, 1942, 19 августа).

178. ВМ, 1942, 26 сентября, в цикле «Песни ненависти». Печ. по изд. 1944, с. 31. В автографе (с пометой: «Брянский фронт») зачеркнуто начало:

Стол окурками заброшен
Перед парнем молодым.
Ядовитый дым допроса
Медленно плывет над ним.

Он стоит, худой и серый,
Нерешительный на вид.
Смерти, а не офицеру,
Он в глаза сейчас глядит.

179. Печ. по сб. «Фронтовые стихи», с. 23.

180. «Красноармеец», 1943, № 1, с. 8, с подзаг. «Русская сказка». Печ. по изд. 1944, с. 13.

181. «Лит. Россия», 1963, 10 мая, с. 21.

182. КЗ, 1943, 10 августа. Печ. по изд. 1944, с. 5.

183. «Крокодил», 1943, № 1, с. 7.

184. «Литература и искусство», 1943, 1 мая.

185. КЗ, 1943, 6 марта. Печ. по изд. 1944, с. 53.

186. «Фронтовик», 1943, 14 апреля, без строфы 4, в цикле «Стихи о родине», с примеч.: «Стихи написаны специально для читателей газеты „Фронтовик“». Печ. по журн. «Красноармеец», 1943, № 19, с. 14.

187. «Фронтовик», 1943, 14 апреля, в цикле «Стихи о родине», под загл. «Наступлéние». Печ. по изд. 1944, с. 17.

188. Пр., 1943, 17 апреля. Печ. по изд. 1944, с. 52.

189. КЗ, 1943, 13 июня, под рубрикой «Из фронтовой тетради». Печ. по изд. 1944, с. 8.

190. КЗ, 1943, 10 августа.

191. КЗ, 1943, 28 сентября, в цикле «На Киевском шляхе».

192. КЗ, 1943, 28 сентября, в цикле «На Киевском шляхе». Печ. по изд. 1944, с. 27. В автографе зачеркнуто загл. «Святыня».

193. КЗ, 1943, 28 сентября, в цикле «На Киевском шляхе». Печ. по изд. 1944, с. 28. В автографах — пятнадцать вариантов стих. «На Днепре».

194. КЗ, 1943, 3 октября. Печ. по изд. 1944, с. 33. *Заслонов* Константин Сергеевич (1909—1942) погиб 14 ноября 1942 г.

195. КЗ, 1943, 21 октября.

196. ЛГ, 1963, 16 мая.

197. Печ. впервые по машинописи с авторской правкой.

198. Стихи и поэмы, с. 211.

199. О, 1956, № 15, с. 13.

200. СО, 1962, № 3, с. 141.

201. Стихи и поэмы, с. 216. Эпиграф и две последние строки — из стих. А. С. Пушкина «Зимний вечер». В автографе строфа 6 — в другой редакции.

202. Печ. по изд. 1944, с. 25. Эпиграф — из стих. М. Ю. Лермонтова «Ангел».

203. НРВ, 1944, 29 января. Печ. по изд. 1944, с. 18. В арх. Уткина — более шестнадцати автографов этого стих. с незначительными разночтениями.

204. Печ. по изд. 1944, с. 9. В автографах — более десяти вариантов этого стих.

205. Печ. по изд. 1944, с. 12. Эпиграф — из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 7). *Колокольни Ивановой каска* — купол колокольни «Иван Великий» в Кремле.

206. Стихи и поэмы, с. 221.

207. КЗ, 1962, 24 марта. *Доватор* Л. М. (1903—1941) — генерал-майор, Герой Советского Союза. Погиб 19 декабря 1941 г. на подходах к Рузе, недалеко от Москвы. Написано в двухлетнюю годовщину со дня гибели Доватора.

208. «Литература и искусство», 1944, 1 апреля, под загл. «У костра», с подзаг. «Из фронтовой тетради». Печ. по изд. 1944, с. 23. Датируется по автографу.

209. Пр., 1944, 24 апреля. Печ. по изд. 1944, с. 61.

210. «Горьковская коммуна», 1944, 19 мая, под загл. «Песенка офицера». Печ. по изд. 1944, с. 59. Датируется по автографу.

211. ЛЖ, 1959, 13 ноября.

212. Печ. по машинописи с авторской правкой.

213. «День русской поэзии», М., 1959, с. 139. Печ. более поздняя редакция — машинопись с авторской правкой. В автографах зачеркнутые заглавия: «Солдатская мать», «Стихи о матери», Эпиграф — из стих. Н. А. Некрасова «Внимая ужасам войны. . .».

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

214. Стихи и поэмы, с. 90. Автограф — без даты. *Азям* — долгополый кафтан из сукна или верблюжьей шерсти.

215. КП, 1965, 16 апреля.

216—217. Печ. впервые по машинописи.

218. «Лит. Россия», 1963, 10 мая.

219. Печ. впервые по автографу. Эпиграф — из поэмы Маяковского «Во весь голос».

220. Печ. впервые по машинописи.

221—222. О, 1963, № 20, с. 24.

223. Печ. впервые по автографу. Сохранилось около десяти черновых автографов этого стих.

224. ЛЖ, 1965, 13 ноября.

225. Печ. впервые по автографу.

ПОЭМЫ

226. П, 1924, № 24, с. 18. Печ. по изд. 1944, с. 93. *Ржанов* Г. А. — революционер, большевик; в 20-е годы один из руководителей Иркутского обкома партии.

227. МГ, 1925, № 4, с. 172, с посвящением матери. Печ. по изд. 1944, с. 157. Судя по незавершенным «Воспоминаниям» Уткина (ЦГАЛИ), можно думать, что в поэме отразились характерные

ситуации и реплики, которые автору довелось наблюдать еще в 1916 г. в Иркутске в биллиардной «Гранд-отеля», где он служил маркером. Среди посетителей «Гранд-отеля» бывали колоритные «типажи» (представители еврейской буржуазии), язык которых Уткин хорошо изучил. Маяковский, впервые услышавший поэму в исполнении автора на вечере во Вхутемасе (см. вступ. статью, с. 9), по воспоминаниям Л. Ю. Брик, «пришел домой возбужденный и не успокоился до тех пор, пока и мы его <«Мотэле»> не узнали» (В. Маяковский в воспоминаниях современников, М., 1963, с. 348). Публикация «Повести» в МГ вызвала поток одобрительных рецензий (см.: КП, 1925, 12 августа; КП, 1925, 23 августа и 1 ноября; «Комсомолия», 1925, № 9, с. 57). В начале лета 1926 г. «Повесть о рыжем Мотэле» вышла отдельным изданием в библиотеке «Прожектора», с иллюстрациями К. Ротова. Экземпляр этой книги, принадлежавший А. В. Луначарскому, имел, по свидетельству владельца, следующие надписи Уткина:

1

В эти дни,
Когда над миром
Баррикадная весна, —
Поэтическая лира
В эти дни
Едва слышна.

2

Но в июнь благополучный
Отцветут костры знамен,
И разливом сладкозвучным
Вновь течет душевный звон.

3

Вновь гремит, и строг, и строен,
Гимн в восторженных устах,
И усталые герои
Отдыхают на щитах.

«В этих стихах, — писал Луначарский в рецензии на «Повесть», — есть нечто характеризующее поэзию Уткина. Поэзия эта не есть просто порождение отдыха, она... *в целом революционна*, но в ней есть нечто от более спокойных переживаний великой общественной силы, переходящей от разрушительных и оборонительных действий к строительству». Говоря далее о «мягкости», «лиричности», «задумчивости» и одновременно «веселости» поэта, Луначарский пишет: «Веселость Уткина очень часто преломляется в тонкую иронию, в ласковый юмор, слегка подернутый грустью даже тогда, когда стрелы иронии направляются против далеких, по своему социальному положению, от симпатии поэта типов» (Пр., 1926, 6 июня). Летом 1926 г. Уткин послал отдельное издание «Повести» Горькому в Сорренто и получил от него письмо (оно не сохранилось). «Письмо было очень теплым, — вспоминал Уткин. — Горький прочел мою поэму. Поэма, видимо, понравилась. Хвалит. Предупреждает, что

первый успех затрудняет будущую работу, и в конце неожиданно пишет, что хотел бы посмотреть, «какой Вы есть», если будете за границей, приезжайте в Сорренто» («Горьковские чтения», М., 1964, с. 224). В начале февраля 1928 г. Уткин гостил у Горького в Сорренто и несколько раз читал, по его просьбе, вслух свою поэму, о которой Горький отзывался восторженно (письмо Уткина Д. Алтаузену 21 февраля 1928 г. — ЦГАЛИ, фонд Алтаузена). «Повесть о рыжем Мотэле» выдержала большое количество изданий. В 1944 г., подводя итоги творческого пути поэта, безвременно ушедшего из жизни, И. Сельвинский в статье «Поэзия Иосифа Уткина» писал: «Если бы Уткин ничего больше не написал, кроме этой поэмы, то и тогда он завоевал бы себе право на прочное место в советской поэзии. Острая по рисунку, сочная по краскам, удивительно музыкальная, насыщенная легким и непринужденным юмором, печальная по тембру и жизнерадостная по всему своему мироощущению, — эта поэма, играя на еврейских интонациях, наивно и бесстрашно вводила нас в тот мирок местечкового быта, который вообще считался чем-то сугубо антипоэтичным. . .» Уткину «помог великий интернационализм революции. Глубоко насыщенная ощущением братства народов, «Повесть о рыжем Мотэле» счастливо избежала опасности превращения своего сюжета в «еврейский анекдот». ...В лирических отступлениях автора было разлито столько хорошего советского дружелюбия ко всему забитому и обездоленному, столько веры в силу революции, столько подлинной человечности, что пресса не уставала возвращаться к поэме прямо и без повода» (ЛГ, 1944, 2 декабря). *Цимес* — национальное еврейское блюдо. *Могендовид.* В ПКнС (изд. 5-е, с. 117) это слово имеет авторское примеч.: «Знак царя Давида, шестиконечная звезда, которую обыватели путали с коммунистической». *Лапсердак* — верхняя длиннополая одежда у галицийских и польских евреев. *Ной* — библейский патриарх.

228. КП, 1927, 28 октября. Печ. по КН, 1928, № 1, с. 125. В рукописи сохранился более полный текст незавершенной поэмы «Двадцатый», первые две части («вариации») которого соответствуют данному тексту, а «Третья вариация» — не что иное, как «Партизанская песня» (в наст. сб. не вошла). Отрывком из этой же поэмы, видимо, является также стих. «Двадцатый» (№ 37). Работу над поэмой о двадцатом годе Уткин вел параллельно с работой над «Милым детством» (см. № 229); по-видимому, поэма «Двадцатый» должна была стать 2-й частью задуманной трилогии о современнике — «Гражданская война». Однако поскольку Уткин в 1932—1933 гг. ввел эпизоды из эпохи гражданской войны в финальные главы «Милого детства», то, нужно думать, к замыслу поэмы о двадцатом годе он впоследствии возвращаться не собирался. *Ротшильды* — богачи (фамилия знаменитых промышленников и финансовых магнатов, одна из могущественнейших в капиталистическом мире).

229. НМ, 1927, № 11, с. 82, под загл. «Милое детство. Главы из поэмы», в составе пяти глав, с датой: 1927. Три первые главы в в окончательный текст не вошли (см. их ниже), 4-я и 5-я главы («Моя первая любовь» и «Путь двух джентльменов») были впоследствии использованы в 5-й и 6-й главах окончательной редакции. Главы 1—

4 впервые — БР, 1928, 7 июня, разделенные на три главы («Лирические воспоминания», «Зима» и «Весна»). Опубликовано со сноской: «Поэма является одной законченной частью большой поэтической трилогии», с датой: «1928. Сорренто — Москва». Главы 3 и часть 4-й (до слов: «Весна зимнюю била посуду») — О, 1929, № 4, 27 января, в качестве отрывка из поэмы под загл. «Большой загиб», с датой: 1928 г. Конец главы 4 и глава 5 — КП, 1929, 10 февраля. Не вошедшие в окончательный текст строки в качестве заключения поэмы — КП, 1929, 27 апреля, под загл. «К сверстникам». Главы 6—9 — КН, 1932, № 5, с. 92. Полный текст с эпилогом — в отдельном издании поэмы, вышедшем в Москве в 1933 г. В ИС-36, с. 136, под загл. «Детство». Печ. по изд.: Иосиф Уткин, Стихотворения и поэмы, М., 1961, где опубликовано по машинописному экземпляру (ЦГАЛИ); в этой последней редакции поэма подверглась незначительной правке и сокращениям. Сохранились два больших блокнота с записями беловых и полубеловых вариантов поэмы, датированных: «1926—1927—1928», с эпиграфами:

Блажен, кто в этот мир пришел
В его минуты роковые.

Ф. Тютчев

. . .есть многое на свете —
Друг Гораций —
Чего не снилось нашим мудрецам.

«Гамлет» Шекспира

«Чтобы любить или ненавидеть настоящее, надо любить или ненавидеть прошлое».

К загл. поэмы дана была сноска: «Поэма „Милое детство“ — самостоятельная часть поэтической трилогии, характеризующая период подсознательного протеста героя в условиях политического и этического абсолютизма».

В этих блокнотах отражена работа, которую Уткин вел над поэмой, находясь в заграничном путешествии, до встречи с Горьким и после нее. В одном из них, против строф вступления (см. ниже) — помета Горького: «Очень Маяковским пахнет» (об оценке Горького см. во вступ. статье, с. 20). Сохранилась также беловая рукопись 1928 г., содержащая строки, в печатные тексты не вошедшие (см. их ниже).

Замысел поэмы о молодом современнике, о сложном его пути в революцию возник у поэта в 1926 г., когда он и начал работать над произведением. Содержание поэмы в ее начальном замысле (в редакции НМ) рисовалось поэту много проще, чем впоследствии. Никаких душевных коллизий герой не испытывал; характер его, вообще мало разработанный, был более прямолинейным, чем в поздней редакции: пострадав за справедливость, герой попал к генерал-губернатору, а затем вместе с приятелем удрал из Иркутска навстречу неведомому, но светлому будущему. Публикация в НМ, в сущности, была вполне самостоятельным, хотя и конспективным, вариантом «Милого детства». Параллельно Уткин работал над поэмой «Двадцатый» (см. № 229); возможно, что это обстоятельство мешало ему

подробнее сосредоточиться на характере главного героя «Милого детства». Вторично обратившись к «Милому детству» в 1928 г., Уткин существенно переосмысляет образ героя, для чего ему приходится заново написать всю первую часть (до встречи с генерал-губернатором). Работа над поэмой пошла в основном по линии углубления в психологию героя. Спустя два с лишним года Уткин возвращается к замыслу поэмы о бывшем беспризорнике, которого революция сформировывает в человека. Однако вместо предполагаемых второй и третьей частей трилогии («Гражданская война» и «Современность») он дописывает все ту же первую часть, превратив ее в самостоятельное произведение. В печати поэма была встречена холодно и даже неодобрительно. «Активный бунтарь — *герой,* лирический субъект «Милого детства», выбитый из колен и переоценивающий значение своих личных качеств в борьбе, *созвучен поэту...»* «Герой мистически преклоняется перед природой — это свидетельство его разлада с действительностью, приводящего к бегству от последней. Тут же находит выражение пассивизм, который неизменно уживается с бунтарством. Реально бессильный бунтарь жаждет силы, применения ее в борьбе... Герой «Милого детства» анархист и по своим действиям, и по своему миросозерцанию» («Печать и революция», 1930, № 2, с. 45 и 48). Анархические ноты в редакции 1928 г. звучали сильнее, нежели в окончательном, полном тексте 1933 г., когда поэт дописал четыре последние главы поэмы. Идея первой части поэмы была заостренно сформулирована в специальном эпилоге, который должен был завершать ее в 1929 г. (КП, 1929, 27 апреля, — см. его ниже). Глава 2. *Плашкет* — малый, парень (в блатном жаргоне). Глава 3. *Акцизный* — чиновник учреждения по взиманию налогов и пошлин на производство и продажу предметов широкого потребления. Глава 4. *Крез* — легендарный царь Лидии, обладатель несметных богатств; имя Креза стало нарицательным для обозначения богача, скупца. *Шестай* — будь внимателен, осторожен. *Канай* — помчимся, пойдем. Глава 5. *Архаровец* — хулиган, озорник (первоначально — сыщик, агент Архарова, московского обер-полицмейстера, а затем губернатора в XVIII в.). *Аксельбанты* — шнуры, подвешиваемые к плечу и имеющие металлические наконечники, деталь обмундирования у офицеров генерального штаба и жандармов. *Кафедральный* — кафедральный собор. Глава 6. *В драбадана* — бранное выражение (в блатном жаргоне). *Плитуем* — сбежим.

Печатая в 1929 г. в О отрывок из поэмы под названием «Большой загиб», автор предпослал ему следующее предисловие: «Поэма «Милое детство» — самостоятельная часть небольшой поэтической трилогии «Настоящая жизнь». Три поэмы содержат три отдельных этапа жизни человека. Но все эти периоды я буду строить так, чтобы ассоциативной силой, которая в искусстве и есть сила действительная, каждая из них стала современно-актуальной. Однако опережать события мне не хочется, и я поделюсь с читателями «Огонька» лишь тем, что сделано, или почти сделано.

О чем рассказывает «Милое детство»? О совсем не милом детстве. Тоном веселой, по возможности, иронии я рассказываю о подростке, которому «судьба не скроила шубу», который уже наполовину люмпен, но который органически крепок и здоров, который окружен ржавой цепью пошляков и который в конце концов прорывается

сквозь эту цепь, чтобы вместе со своим другом — по Александровскому тракту босиком, лицом к востоку — покинуть мещанский городишко.

Каков же сюжет и персонажи ее?

Первый, кто сплетен с плохо скроенною судьбою героя, — отец. Это скорее всего неудачливый и неталантливый мелкий буржуа, но которому и первое и второе не прибавило симпатии.

Отец заставляет героя менять образ жизни, пойти на выучку к тетке.

Тетя — вполне сформированный тип купчихи со всеми отвратительными чертами ее быта и морали. Тетя решает «посвятить» парнишку — господу и торговле...

Но и к торговле паренек относится скептически, и, когда тетя слишком настаивает в своих науках, он решает ее лучше «угробить», нежели подчиниться.

Дальше в поэме события и персонажи переплетаются таким образом.

К тете, в лавку, на взмыленной паре, нагоняя панику даже на городового, прилетает, искрясь бобрами, генеральша — четвертый персонаж поэмы — провинциальная помпадурша.

«Сам» именинник!

И вот парню надо уже не только торговать и обвешивать, но и резать теленка.

Теленок предназначался не кому-нибудь, а генерал-губернатору. И вдруг вместо теленка режут владелицу «мясного дела», благонамеренную купчиху. Крамола! «Доставить ко мне этого мерзавца!»

...Дальше — генерал был так потрясен, что герою и вспоминать о нем страшно: «Дальше — темно, не помню». О генерале все.

Затем бегство, погоня самодурки и градоначальника, и — Костя...

Звездное небо блестит и сверкает, как синий, усыпанный орденами мундир губернатора. По утихшему тракту босиком топают два джентльмена.

Это канва, фабула, сюжет.

Моя задача — не в простой зарисовке сюжета, не в объективном развертывании сюжета.

На крыше парнишка потому, что очень противно под крышей. И когда он плюет, то этот плевок — на весь божий пошленький уездный мир.

Убийство тетки, конечно, не призыв к физическому уничтожению, и вообще не физическое убийство, а убийство среды и людей ее, требующих от нас этических компромиссов. Да и весна, сопровождающая смерть тетки, — это радость освобождения.

Беседа с Костей во время бегства, когда герой в ответ на патетику спутника говорит: «не поймут и повесят», — это уже первые признаки необходимости рвать с враждебной средой.

При этом надо иметь в виду, что многое, как например философия о картах, не есть наше воззрение, а воззрение героя, его среды — и тогда будет понятна симпатия автора к активному и органическому протесту героя, симпатия, которую я стараюсь вызвать и у читателя.

Писал я «Милое детство», имея в виду главным образом моло-

дежь. Я хотел показать подростка, окруженного нуждой, голого, разутого, предпочитающего жизнь беспризорника жизни «с удобствами».

Против чего же *протестует* поэма? Против «удобств», против «кушанья с рук». Против «гостеприимства ватрушек, приручающего душу». Против тех, которые в меблированных будках показывают зубы, защищая свой прокислый быт.

То есть — против мещанства.

Главная сила, противопоставленная «вещам», в поэме — природа. Природу, которую я противопоставляю мещанскому «великолепию», которую делаю как бы союзником моих героев, — я считаю художественным аргументом против мещанства.

Мы мало развиваем в нашей молодежи, у нас в комсомоле, любовь к природе. Физкультура — это еще не обязательно любовь к природе. Я бы даже сказал, что нам нужно молодежь учить уважению к природе. Природа — огромный источник бодрости и энергии.

К языку «Милого детства» я подошел сознательно. В «Мотэле» я использовал интонацию национальную, здесь я постарался, по возможности, с чувством меры использовать акцент люмпен-пролетария. И вот по каким соображениям. Слово — это среда. Поэма, которая берет героем парнишку *окраины* и пишет для рабочей молодежи, жителей окраины, — и по языку должна быть близка к первому и вторым. В искусстве нет плохого и хорошего языка, а есть язык большей или меньшей выразительности..[1]

И если «Милое детство» хоть немножко поработает на очистке «российской пыли», автор будет считать свою задачу выполненной» (О, 1929, № 4).

Публикации в КП следующих глав поэмы предшествовало авторское вступление:

«„Милое детство“ — часть небольшой поэтической трилогии о человеке, который в детстве был беспризорником, он сформирован революцией, идет ее путями и доходит до наших дней.

Три поэмы, по моему плану, охватывают три периода жизни героя. Первый период — детство. Второй — гражданская война, третий — современность.

О чем рассказывает «Милое детство»? О подростке, которому «судьба не скроила шубы», который наполовину уже бродяга, который голодает и зябнет, но все же отказывается от шубы, которую предлагает ему тетя в обмен на его совесть, отказывается от шубы, вместе с которой он должен принять и «господа» и торговлю.

И когда тетя продолжает настаивать, герой и его спутник с ножом в руках прорываются сквозь буржуазно-мещанский чертополох на волю, — «удобную» жизнь они меняют на жизнь беспризорников.

Ребят поймали. Они мужественны перед глазами всемогущего генерал-губернатора. Они бегут и, счастливо избегнув мчащейся за ними фурии генеральши, уходят из проклятого города, в который они

---

[1] Недавно я читал поэму в кругу работников «Комсомольской правды» и услышал ряд замечаний, считаться с которыми нужно и из которых я сделал вывод, что следует работу обсудить, и может быть не раз на широкой аудитории, которая, наверное, поможет мне кое-что и выкинуть, и кое-чем пополнить.

бросили камнем и который их чуть не потопил в своей грязи, — уходят навстречу... чему навстречу?

Об этом я скажу в отдельной поэме и на этом кончаю поэму «Милое детство».

Как и чем смыкается поэма с нашими днями? Во-первых, мне кажется, каждый мой сверстник, да и более молодые товарищи, найдут частицу своих переживаний в переживаниях героя. Во-вторых, конечно, силой *неподчинения* опошляющей среде. В-третьих, призывом „не кушают с рук!"» (КП, 1929, 10 февраля).

Начало ранней редакции поэмы (НМ, 1927, № 11), в окончательный текст не вошедшее:

ЗЕЛЕНАЯ ЛИРИКА

Летом — прекрасно!
Ни вши,
Ни снежка,
Выше колен
Знаменитые гачи,[1]
Бредень — на плечи,
Под «же» — корешка,[2]
И —
На протоку рыбачить.

Если плашкетам
Удача далась,
Если сумели
Местечко нащупать, —
Бьется в мотне
Золотистый карась,
Синий налим
И крылатая щука.

Жизнь на протоке
Сыта и тиха...
Ляжешь к костру,
Убаюканный ленью,
Тихо и вкусно
Воркует уха,
Тихо и кротко
Воркует теченье.

Луг за протокой
И пышен и ал:
Тлеет и пышет
Цветочное благо!
Смотришь —
И кажется,
Кто разбросал
Национальные флаги...

---

[1] Штанины.
[2] Товарища.

ИСПОРЧЕННАЯ БИОГРАФИЯ

Так протекала бы
Скромная жизнь,
Если не этот бы
Случай проклятый,
Если в судьбу мою
Не вяжись
Сам —
Генерал-губернатор!

Кто-то
И где-то
Калечил жену.
Лирик по сердцу,
Грабастая глыбу,
Бью я —
Без промаху...
Н-ну... и ну...
Глаз оказался
Выбит...

Город Иркутск
Удивительно мал:
Утром
Сморкнетесь —
Звучит до заката.
Тут обо мне
Впервые узнал
Сам генерал-губернатор.

Ну, так повестка!
Повестку прочел
И, пораздумав...
Не поднял перчатки.
Нет, я не струсил,
Я пред-по-чел
Лучше уж
Не встречаться.

Зимнее небо
Роняет снег,
Летнее небо —
Звездные свечи;
Что же может
Простой человек?
Маленький человечек?!

НЕБОЛЬШОЙ ДИАЛОГ И БОЛЬШИЕ ДЕЛА

Но губернатор
Был не поэт.
Он был сторонник

«Твердых позиций».
Ну, если так,
Почему бы и «нет»?
Можно сразиться!
На губернаторе
Синий сюртук,
По сюртуку —
Горизонт из медалей.
«Здравствуйте!»
— «Здравствуйте,
Милый друг!»
(Давно, говорит,
Не видались.)

Старый барон
Был сугубо суров.
Главное — глазки:
Не смотрит,
А... греет!
«Ну-с, — говорит, —
Ты...
          из жидов? ..»
— «Нет, — говорю, —
Из...
Евреев».

Тут, невозможно
Гремя и трубя,
Стал он
Описывать круги.
«Да я те-е-ебе!
Да я
Из те-бя
Сделаю
Кугель!»

Вступление, предпосланное поэме в беловой рукописи 1928 г.:

Сто́ит лирически
Только вздохнуть,
Сто́ит в раздумии оглядеться, —
Дверь —
          нараспашку
и кошкой —
                на грудь
Это вот самое:
Милое детство.

Критик — с *подходом*
Скажет опять:
«И-де-оло-гия,
                    жили получше».

Ой, не хотел бы я
Вам пожелать
Такое благополучье! ..

ГЛАВА 1

После строфы 5 в рукописи и в БР:

Что говорить!
Посмотрите: как все —
Лошадь!
Под плетью,
Под ношею —
Лошадь
Мечтает
О лучшем овсе,
Извозчик —
О лучшей лошади.

ГЛАВА 2

После строфы 1 в рукописи:

Как-то проснулся,
Глянул — сосна,
И растерялся сразу.
Я — на сосну:
И не сосна,
А белоснежная ваза?!

Я — к тополям,
Я — на поля, —
И не могу
надивиться:
Вижу: стоят мои тополя
Все, как один, —
В рукавицах?!

Я — на дома:
И — не до-ма!
Бабушки в чепчиках белых!
Патриархальная зима?!
Чтоб ты
Сгорела!

За ночь
И ветер
И стужу скрутя,
Утро дремало
На перьях метели,
Спокойное,
как дитя
в колыбели.

После строфы 1 в БР:

В наших окраинах
Еще бубенец
С полным гражданством
Бубнит на морозе,
И расчертили дорогу вконец
Серебряные полозья.

После строфы 3 в рукописи:

Ах, золотое начало!
Ах,
Неповторимые зимние танцы <?>
Пёхом,
на санках
и на коньках
Тащат ребята
Удобные ранцы.

Славно ребятам,
Тепло! Светло!
Мне и неладно
И грустно.
Слезы текут,
А ты — в стекло
Стоишь, пятачок приплюснув.

Взрослым — наверно бы,
Кинулся пить,
А у парнишки
Утеха иная:
Выскочу — стерва!
И ну лупить!..
А за что?
Не знаю...

После строфы 5 в рукописи следовал текст, на первых трех строфах которого М. Горький сделал помету: «Плохо звучит»:

Вечером — бронзовой
Дремой объят
Терем многооконный.
Чайками — ставни,
И на закат
Окна горят,
Как иконы.

Ночью — библейская красота!
Синее и густое.
Домик,
над домиком высота.

Домик —
под высотою.

Вы понимаете:
бок о бок —
Небо чуть-чуть повыше.
И может быть, здесь
Квартирует бог,
И только на время
Вышел.

И не его ли
Это нога
Мнет снеговую жизнь?
Ночь...
рафинированные снега.
Ночь...
ювелирная высь.

Звездной казны
Золотистый мороз
Кружится весь —
До копейки.
В домике полночь.
И — вроде звезд —
В домике канарейки.

Спит караульный
С морозом в усах.
Тишь снеговым горностаем.
В домике тихо,
Как в небесах:
Тетя — считает!

Право — расход,
Лево — приход,
Ручку... и в книгу.
И больше
ни слова.
Смотрит на счеты
Китайский кот
С усами сторожевого.

Блещут клычки
У китая в усах,
Чудятся мыши
В костяшках китаю.
В домике тихо,
Как в небесах:
Тетя считает.

Даст же всевышний
Такую лафу
Дьявольскому творенью!

Стерва я буду,
Если в шкафу
Меньше чем пуд
Варенья!

———

Не́ пил мой батя
Ни серу,
Ни бром.
Это не козыри
В нашей касте.
В бороду руку —
И серебро
Перебирает в кассе.

Дескать, учесть,
Дескать, подчесть, —
Все до единой вычесть.
Чудится бате:
— Пять или шесть?
Сколько у тети тысяч?!

Трудно родителю
Без пера.
Ходит, седую крошит,
Брюки в гармошку,
Гармошка в спираль
Крутится на галоши.

Старая крыса
Старалась не зря.
Боже спаси, напротив.
Словом, короче говоря —
Я попадаю
К тете.

После строфы 5 в тексте БР:

Вор не узнает,
А родственник — да.
Ну, так из этого видно:
Знал мой папаша
До гроша всегда —
Теткины злыдни.
Старая крыса... и т. д.

ГЛАВА 3

Окончание в тексте О (1929, № 4) (оно было впоследствии зачеркнуто в рукописи):

Встал я
Над телкой,

А слезы — в ручьи, —
Если бы так человека жалели! —
Стал я
Над телкой,
А слезы мои
Сыпятся
Ожерельем.

Рыжее солнце
Кипит на лугу,
Лугом пасутся
Парные коровы.
«Нет, — говорю, —
Не могу.
Честное слово!

Нет, — говорю, —
Палачу
Я не завидовал очень...
Нет», — говорю,
А сам — точу
Нож (между прочим).

ГЛАВА 4

Строфа 5 в рукописи и О (1929, № 4):

Тетке бы надо
Давным-давно
Сделать на пузе
Прореху...
«Ладно, — я думаю, —
Ничего
Тетю пырнуть
(Для смеху!)»

После слов «чем воровать с весами» (строфа 15) в рукописи БР и О:

Честное слово,
С Костей вдвоем
Мы настоящая
«Добрая фирма»!
Звезды считаем,
Песни поем
И ударяем по ширме!..[1]

---

[1] Ударяем по ширме — лазаем по карманам.

После заключительных слов главы в тексте О:

СВОИМ ГОЛОСОМ

Мне не по сердцу
И нож,
И разбой.
Сильный мечтой,
И возможностью сирый,
Плакал нередко я
Над собой
И над ограбленным миром.

Но, вспоминая
О горькой судьбе,
Я надрываюсь:
— Божественно!
— Дивно! —
Как хорошо, что пришел я к борьбе
Не гимназистом наивным!

Чтобы действительно
Сладость понять, —
Горечи, други,
Вначале попейте!
Надо познать
Эту жизнь! — познать
Всю — до ко-пей-ки!

Заключение, которым завершалась поэма в 1928 г. (в рукописи и в КП, 1929, 27 апреля):

К СВЕРСТНИКАМ

Это для нас и для наших внучат:
С рук никогда не кушать:
Сердце прикормят,
Потом приручат,
За сердцем, глядишь,
И душу.

Братцы,
На воздух!
Не воздух, а шелк —
Чище да шире роздых.
Надо, чтоб нашей гортанью шел
Сорокаградусный воздух.

Надо, чтоб каждый,
Шагая, пил
Эту прохладную живость.
Надо, чтоб до́ма
Российская пыль

На души нам
Не ложилась!

Надо, ребята!
Семейной ценой
Проданы армии глоток.
Кройте фарфоровой целиной,
Бейте по кумполу теток!

Жгите бумагу
Искусственных роз!
Жгите и голосуйте
За —
Самородные россыпи звезд!
За —
Драгоценные сосульки!

Рюмка, кенарки, лирический чад
Отволокут и придушат...
Сердце сначала,
Потом приручат
За сердцем, ребята,
И душу.

Душу-то в бархат:
Удобство, один...
Мебель...
Заглянешь — жутко:
Зубы показывает гражданин
В меблированной будке!

Братцы,
На воздух!
Не воздух, а шелк —
Чище да шире роздых.
Надо, чтоб нашей гортанью шел
Сорокаградусный воздух.

Надо, чтоб каждый,
Шагая, пил
Эту прохладную живость.
Надо, чтоб до́ма
Российская пыль
На души нам
Не ложилась!

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Иосиф Уткин. Фотография 1941—1942 гг. на удостоверении военного корреспондента (ЦГАЛИ).

2. *Между с. 96 и 97.* Иосиф Уткин. Фотография 1927 г. (ЦГАЛИ).

3. *С. 169.* Автограф стихотворения «Задала любовь задачу...» (ЦГАЛИ).

4. *С. 211.* Автограф стихотворения «Народный фонд» (ЦГАЛИ).

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворения неизвестных лет

ПОЭМЫ

Уткин Иосиф Павлович

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1966, стр. 384. Тем. план вып. 1966 г., № 423

Редактор *В. С. Киселев*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 25/V 1966 г. Подписано в печать 8/VIII 1966 г. М 51000. Бумага 84×108[1]/32 № 1. Печ. л. 12,0 + 2 вкл. (20,37). Уч.-изд. л. 18,08. Тираж 40 000 экз. Зак. № 886. Цена 1 р. 16 к.

Издательство «Советский писатель» Ленинградское отд., Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3

